
Даниэль
Кельман
Ф
СЕРИЯ «ШОРТ-ЛИСТ»

# Ф

# Даниэль Кельман

Аннотация
Даниэль Кельман. Ф
Великий Линдеман
Жития святых
Семья
О том, как идут дела
О красоте
Времена года
1
2
3

## Аннотация

Близнецы Эрик и Ивейн Фридлянды и их сводный брат Мартин отправляются на выступление знаменитого гипнотизера со своим отцом. После представления Фридлянд-старший исчезает: он хочет быть свободен и счастлив – и становится писателем. Его детям остается самим распоряжаться своей жизнью, но она, похоже, оказывается подчинена неведомой им силе. Силе, которая вызовет события одного судьбоносного дня в августе 2008 года.

# Даниэль Кельман
# Ф

Daniel Kehlmann
F
Издание публикуется с разрешения издательства Rowohlt Verlag GmbH
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, Germany
© Зборовская Т., перевод, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017

# Великий Линдеман

Много лет спустя, когда каждый из сыновей Артура Фридлянда успел вырасти и давным-давно погрязнуть в своих жизненных неурядицах, никто уже и не мог припомнить, чья это была идея — пойти в тот вечер к гипнотизеру.

А тогда на дворе стоял восемьдесят четвертый год, Артур сидел без работы и писал романы, которые не хотело брать ни одно издательство, и рассказы, которые периодически печатал то один, то другой журнал. Больше его ничто не занимало, но жена его была окулистом и кое-что зарабатывала.

По дороге он болтал со своими тринадцатилетними сыновьями-близнецами о Ницше и о том, какой сорт жвачки лучше, спорил с ними о мультфильме, который шел тогда в кино, где главным героем был робот и он же всех спасал, о том, почему магистр Йода так странно говорит, и о том, кто же все-таки сильнее — Бэтмен или Супермен. Затормозив у обочины пригородной улочки перед одним из множества однотипных домов, он дважды нажал на гудок, и пару мгнове-

ний спустя распахнулась входная дверь.

Последние два часа его старший сын Мартин провел у окна в ожидании, томясь от скуки и волнения. Стекло запотело от его дыхания, и он пальцем рисовал на нем рожицы — смеющиеся, серьезные и с разинутыми от страха ртами. Затем снова и снова протирал его рукавом и смотрел, как оно вновь покрывается испариной от его дыхания. Тикали часы на стене. Почему так долго? Проезжала мимо очередная машина, и еще одна, и еще — а отца с братьями по-прежнему не было.

И вот вдруг кто-то остановился, и раздался двойной гудок.

Мартин бросился по коридору, мимо комнаты, в которой закрылась его мать, чтобы не видеть бывшего мужа. Прошло четырнадцать лет с тех пор, как он стремительно и без труда исчез из ее жизни, но ее по-прежнему уязвляло то, что он мог жить, ни капельки в ней не нуждаясь. Мальчик сбежал по лестнице, промчался по первому этажу, выскочил на улицу и кинулся через дорогу — так быстро, что даже не заметил подъезжавшей машины. Взвизгнули тормоза, но он уже сидел на пассажирском сиденье, закрыв голову руками — и только тогда сердце его екнуло.

— Господи Боже, — прошептал Артур.

Чуть не сбивший Мартина водитель, сидевший за рулем красного «Фольксвагена Гольф», громко засигналил. В этом не было никакого смысла, но, вероятно, еще более бессмысленным ему показалось ничего не сделать после того, что произошло секунду назад. Затем он дал газу и вскоре скрылся из виду.

— Господи, — повторил отец.

Мартин потер лоб.

— Как можно быть таким идиотом? — подал голос один из близнецов, устроившихся на заднем сиденье.

У Мартина же было такое чувство, будто его теперь стало двое. Один был в машине, а другой тем временем скорчился на асфальте, обезображенный и неподвижный. Казалось, его судьба еще не была решена, все еще было возможно — и спасение, и гибель; и на долю секунды у него появился свой близнец, лежавший на дороге и медленно таявший в воздухе.

— А ведь мог бы и погибнуть, — со знанием дела добавил второй.

Артур кивнул.

— Но правда ведь, если у Бога есть на него какие-то планы — какие бы то ни было, — то он не убьет его, а оставит в живых?

— Богу совершенно не нужно строить какие-то планы. Ему достаточно знать. Если Бог знает, что Мартина убьет, его убьет. А если Бог знает, что ничего не случится, то ничего не случится.

— Но так не может быть. Тогда было бы совершенно все равно, что бы ты ни делал. Папа, в чем подвох?

— В том, что Бога не существует, — ответил Артур. — В этом и подвох.

Все умолкли. Отец завел мотор и тронулся. Сердце Мартина постепенно переставало биться так часто. Спустя пару минут то, что он все еще жив, покажется ему совершенно естественным.

— Ну, что в школе? — спросил Артур. — Как у тебя там?

Старший бросил на отца косой взгляд. Тот немного поправился, но волосы его, тогда еще не тронутые сединой, по-прежнему были взлохмачены, словно их никогда не расчесывали.

— С математикой сложно, боюсь, как бы двойку не получить. С французским все еще не очень. Но зато с английским уже все в порядке, — затараторил он, чтобы успеть сказать как можно больше, прежде чем Артур утратит интерес. — С немецким хорошо, по физике дали нового учителя, с химией все как всегда, но если делаем

эксперименты, то…

— Ивейн, — спросил отец, — билеты у тебя?

— Нет, у тебя в сумке, — ответил один из близнецов, и теперь Мартину по крайней мере стало ясно, кто из них Ивейн, а кто Эрик.

Он посмотрел на братьев в зеркало заднего вида. Как всегда, что-то в их сходстве казалось ему неестественным, неправильным, преувеличенным. А ведь пройдет еще несколько лет, прежде чем они станут одинаково одеваться. Удовольствие, которое они получали, сбивая окружающих с толку, продлится вплоть до их восемнадцатилетия — пока они не поймут, что уже сами не могут с точностью сказать, кто из них кто. После этого их все время будет одолевать чувство, что кто-то из них однажды потерял себя и начал жить жизнью другого — а Мартин так до конца дней и не избавится от смутного подозрения, что на самом деле тем утром его сбила машина.

— Ну и что уставился? — спросил Эрик.

Старший рванулся было назад и попытался схватить брата за ухо, но тот в последний момент увернулся, схватил его за руку и резко вывернул вверх. Мартин вскрикнул от боли.

Эрик отпустил его и удовлетворенно заявил:

— Сейчас разревется!

— Свинья, — дрожащим голосом произнес Мартин. — Тупая ты свинья!

— Именно, — присовокупил Ивейн. — Разревется.

— Свинья!

— Сам такой!

— Нет, это ты свинья!

— Нет, ты!

На этом их фантазия оказалась исчерпана. Мартин уставился в окно и не отворачивался, пока не уверился, что точно не заплачет. В витринах проплывало искаженное, вытянутое, сплющенное в полумесяц отражение их автомобиля.

— Как дела у матери? — спросил Артур.

Мартин медлил с ответом. Что он мог сказать? Этот же вопрос отец задал ему еще семь лет назад, во время их первой встречи, с него начался их разговор. Тогда он показался ему очень высоким, но при этом каким-то усталым и отсутствующим, словно окутанным тонкой завесой тумана. Он боялся этого человека — и в то же время, сам не зная почему, испытывал к нему жалость.

— Как дела у матери? — спросил его незнакомец, и Мартин никак не мог понять, действительно ли это тот самый человек, который так часто являлся ему во сне, — человек без лица в

неизменном черном плаще. Но лишь в тот день, когда он сидел в кафе-мороженом, ковыряясь в своем фруктовом сорбете, политом шоколадным соусом, ему вдруг стало ясно, как же хорошо было не иметь отца. Не иметь ни примера для подражания, ни предшественника, по стопам которого необходимо было идти, ни тяжкого бремени — лишь слабое представление о ком-то, с кем, может быть, ему однажды предстоит познакомиться. И кто теперь перед ним сидел? Кривоватые зубы, взъерошенные волосы, обветренные руки и пятно на воротнике. Такой же человек, как любой другой: как многочисленные прохожие на улице, пассажиры метро — да кто угодно.

— Сколько тебе сейчас лет?

Мартин сперва проглотил мороженое.

— Мне семь.

— А это твоя кукла?

Мартин не сразу сообразил, что речь шла о фрау Мюллер. Как всегда, она была зажата у него под мышкой, и он о ней даже не помнил.

— И как же ее зовут?

Он сказал.

— Какое странное имя.

Мартин не нашелся, что ответить. Куклу всегда так звали — просто-напросто фрау Мюллер. Тут

он обнаружил, что у него течет из носа, и оглянулся в поисках мамы, но той нигде не было видно. Она молча вышла из кафе, как только увидела, что появился Артур.

Сколько бы раз Мартин потом ни думал об этом дне, как ни старался заставить их тогдашнюю беседу всплыть из глубин подсознания, у него ничего не вышло. Вероятно, все оттого, что прежде он слишком часто воображал эту встречу, и то, что они на самом деле друг другу сказали, довольно быстро переплелось с тем, что он за все эти годы навыдумывал. Действительно ли Артур сказал ему, что у него нет работы и вся его жизнь проходит в размышлениях о жизни — или Мартин додумал это сам как единственное правдоподобное объяснение, когда уже получше узнал его? И вправду ли на вопрос, почему он бросил их с мамой, отец ответил, что тот, кто отдается во власть семейных уз, скромной жизни и отчаяния среднестатистического существования, не в силах помочь никому, даже самому себе, что в нем разрастается рак, покрывается жиром сердце и что он уже не живет, а заживо разлагается? По Артуру вполне можно было сказать, что он способен так ответить семилетнему мальчугану, но Мартин никак не мог поверить, что и впрямь

ему этот вопрос задал.

Отец вернулся только три месяца спустя. На этот раз он забрал Мартина от дома; на заднем сиденье машины сидели двое до ужаса похожих друг на дружку мальчишек — Мартину даже показалось, что это обман зрения. Они же поначалу разглядывали его с огромным любопытством, но вскоре оно поубавилось, и близнецы вновь оказались полностью поглощены собой, захвачены тайной своей двойственности.

— Мы всегда думаем одно и то же.

— Даже если это что-то очень сложное. В точности одно и то же.

— Спроси нас о чем-нибудь, и нам в голову придет один и тот же ответ.

— Даже если он неверный.

Тут они рассмеялись абсолютно одинаковым смехом, и по спине Мартина пробежали мурашки.

С тех пор отец с братьями заезжали за ним регулярно. Они ездили кататься на аттракционах, ходили в океанариумы, где плавали сонные рыбины, гуляли по рощам на окраине города, плавали в залитых солнцем, полных детского крика и запаха хлора бассейнах. При этом на лице Артура неизменно читалась усталость, он присут-

ствовал и в то же время как бы отсутствовал, да и близнецы не очень-то скрывали, что участвуют во всем этом, потому что их просто заставили. И хотя Мартину все это было совершенно очевидно, то были самые прекрасные вечера в его жизни. В последний раз Артур подарил ему цветной кубик с вращающимися сторонами — новую игрушку, только-только появившуюся на рынке. Вскоре Мартин уже просиживал с ним часами, мог проводить так целые дни — настолько его покорила головоломка.

— Мартин!

Он снова обернулся.

— Ты что, уснул?

Он подумал, не врезать ли ему еще раз, но решил не связываться. Драться было бессмысленно — Эрик был сильнее.

«Жаль», — подумал Эрик. Он бы с радостью отвесил Мартину оплеуху — притом, что, в общем-то, ничего против него не имел. Просто его бесило бессилие брата, бесили его кротость и боязливость. К тому же он все еще помнил и винил его за тот вечер семь лет назад, когда родители позвали их в гостиную, чтобы сообщить кое-что важное.

— Вы что, разводитесь? — поинтересовался

Ивейн.

Родители в ужасе замотали головами: нет-нет, честное слово, нет! И тут Артур сказал, что есть еще и Мартин.

Эрик был настолько потрясен, что тут же предпочел сделать вид, будто то, что им только что сообщили, весьма забавно — но только он набрал в легкие воздуха, чтобы засмеяться, как услышал, что рядом с ним захихикал Ивейн. Так оно и бывает, когда ты один — и тебя одновременно двое, и любая мысль приходит в голову не тебе одному.

— Это не шутка, — сказал отец.

«А почему вы говорите об этом только сейчас?» — хотел было спросить Эрик, но и тут Ивейн его опередил:

— А почему вы говорите об этом только сейчас?

Артур ответил лишь, что порой все не так просто, как кажется.

Отец беспомощно взглянул на мать, но та, по-прежнему сидя, скрестив руки, сказала, что взрослые иногда тоже поступают не очень-то умно.

Мать другого мальчика, произнес Артур, не очень-то любит о нем говорить и предпочла бы, чтобы они не виделись. Он подчинился — надо

признать, весьма охотно, потому что так и ему было бы намного проще. Лишь недавно он изменил свое мнение и теперь собирается пойти повидаться с сыном.

Эрик еще никогда не видел, чтобы отец нервничал. Кому он нужен, этот Мартин, подумал он, и как вообще отец мог сыграть с ними такую до смешного обидную штуку?

Он с ранних лет знал, что не хочет походить на своего папашу. Он хотел зарабатывать, хотел, чтобы его воспринимали всерьез, не желал оказаться человеком, которого втайне жалеют. Поэтому в первый же день в новой школе он выбрал самого здорового парня в классе и накинулся на него — разумеется, без предупреждения, и эффект неожиданности ему помог: он повалил одноклассника на землю, схватил за уши и трижды приложил головой об пол, чтобы ощутить, как тот перестает сопротивляться. После этого, зрелищности ради, Эрик нанес ему точный удар в нос: льющаяся кровь всегда производит должное впечатление. И действительно: по лицу мальчугана, которого Эрику к тому моменту уже было откровенно жаль, покатились слезы. Он отпустил его, и тот поплелся прочь, хлюпая и прижимая к носу платок с расползающимся по нему красным

пятном. С тех пор все в классе стали бояться Эрика, и никто не замечал, как он сам всех боялся.

Эрик уже понимал, что главное в жизни — решительность. Учителя, однокашники, родители — все они были не в ладах с собой, в состоянии какой-то раздробленности; что бы они ни делали, они делали вполсилы. Остановить того, кто действительно стремился к цели, не мог никто. Это было несомненно, как дважды два — четыре, как то, что его окружали тени, чьи очертания проявлялись лишь изредка, когда сгущались сумерки.

— Я заблудился, — сказал отец.

— Ну вот, опять! — протянул Эрик.

— Ты это нарочно, — произнес Ивейн. — Все потому, что тебе неохота.

— Конечно, неохота. Но я не нарочно.

Артур припарковался у обочины и вышел. В салон хлынул прогретый летним солнцем воздух. Мимо пролетали машины, пахло бензином. Артур спрашивал прохожих: пожилая дама просто отмахнулась от него, мальчишка на роликах даже не притормозил, мужчина в широкополой шляпе указывал то вправо, то влево, то вниз, то вверх. Беседа с юной девушкой несколько затянулась. Она слегка наклонила голову; Артур улыбнулся. Девушка куда-то показала, он кивнул

и что-то ответил, та рассмеялась, рассмеялся и он; она сказала что-то, они распрощались, и, минуя его, она коснулась его плеча. Артур вернулся в машину; на лице у него все еще сияла улыбка.

— И как, помогла она?

— Она не местная. Но мужчина до нее подсказал, как проехать.

Артур дважды свернул, и перед ними оказался въезд на крытую парковку. Эрик обеспокоенно уставился в темноту. Никогда и никому он не смог бы сказать, до чего боялся любого тоннеля, любой расщелины — всякого замкнутого пространства. И все же Ивейн, вероятно, это знал; ведь у него самого в голове иногда возникали вместо своих мысли брата и всплывали слова, смысл которых был ему неизвестен. Часто бывало и так, что, проснувшись, он припоминал сны, краски в которых казались ему совершенно чужеродными — сны Ивейна были куда ярче его снов, в них ощущался какой-то необыкновенный простор, словно воздух там был чище и лучше. Тем не менее у них бывали друг от друга секреты. Эрик никак не мог понять, почему его близнец боится собак — они ведь как раз были на редкость дружелюбными существами; не мог понять, почему Ивейн предпочитает блондинок

брюнеткам; и уж тем паче для него оставалось загадкой, почему старая живопись, навевавшая на него скуку в музее, вызывает у его брата такие сложные чувства.

Они вышли из машины. Неоновые лампы источали слабый свет. Эрик скрестил руки, уставившись в пол.

— Не веришь в гипноз? — спросил его Ивейн.

— Я верю в то, что человеку можно внушить все что угодно, — ответил Артур.

Они вошли в лифт. Двери закрылись; Эрик изо всех сил боролся с подступившей паникой. Что, если трос оборвется? Такое уже случалось и обязательно случится еще, неизвестно только, где и когда — так отчего бы не здесь и не сейчас? Наконец кабина замерла, двери распахнулись, и они направились ко входу в театр. «Сегодня вечером: мастер гипноза — великий Линдеман!» — гласил транспарант. С афиши смотрел ничем не примечательный мужчина в очках, отчаянно пытающийся состроить мрачную мину с пронзительным взглядом. На него падал драматический свет, на лице лежали тени — словом, фотография была просто жуть. «Великий Линдеман научит вас бояться того, о чем вы мечтаете», — говорилось тут же.

Молодой человек, зевая, проверил у них билеты. Места были отличные — впереди, в третьем ряду. Партер был практически полон; на ярусах не было никого. Взглянув на богато украшенный потолок, Ивейн задумался, как такое можно было устроить: художник мастерски сымитировал купол, которого у театра не было и в помине. Как нарисовать этот потолок так, чтобы было ясно: на самом деле там нет никакого дополнительного пространства, и все это лишь иллюзия? Из книг такого не почерпнуть.

Никто не мог ему в этом помочь. Не было такой книги, не было такого учителя, которые бы его научили. Все самое необходимое приходилось постигать самому, и неудача означала бы, что жизнь была прожита зря. Ивейн частенько задавался вопросом, как сносили тяжесть своего бытия люди, не обладавшие каким-нибудь талантом. Он не мог не замечать, что его мать хотела бы жить другой жизнью, а мысли отца постоянно где-то витали. Не мог не замечать, что учителя в школе были сплошь несчастными, малодушными людишками. И, разумеется, он не мог не знать, какие видения терзают его брата. Каждый раз, когда он оказывался во сне Эрика, он неизменно попадал в душное, темное пространство, нахо-

диться в котором он совершенно не хотел. Он не мог не наблюдать за Мартином, не мог не видеть, какой он безвольный и сколько времени проводит вдвоем с матерью. Ивейн вздохнул. Гипноз был ему совершенно неинтересен; с куда большей радостью он бы вернулся домой, порисовал бы. Наконец-то научиться лучше рисовать было единственным его желанием, единственным, что имело для него значение.

Приглушили свет, и бормотание в зале затихло. Взметнулся занавес. На сцене стоял Линдеман.

Это был полноватый, лысый человечек, и лысина его лишь сильнее бросалась в глаза оттого, что была прикрыта парой редких прядей; на нем были очки в черной роговой оправе и серый костюм, из кармана торчал кончик зеленого платка. Не поклонившись, не поприветствовав публику, он сразу заговорил тихим голосом.

Гипноз, сообщил Линдеман, не является сном — в гораздо большей степени это состояние бодрствования, обращенного внутрь, не безволия, а, наоборот, овладения собой. Сегодня нам будут явлены удивительные вещи, но публике не следует беспокоиться — как известно, никто не может быть подвергнут гипнозу вопреки его воле, и никого еще не удалось посредством гипноза за-

ставить пойти на поступок, совершить который он в глубине души не был бы готов. Минуту помолчав, Линдеман улыбнулся, словно только что неудачно пошутил, и никто его шутки не понял.

Вниз с подмостков вела узкая лесенка. Гипнотизер спустился в зал, поправил очки, огляделся и направился вперед по проходу. По всей видимости, он раздумывал, кого бы пригласить вместе с ним на сцену. Ивейн, Эрик и Мартин втянули головы в плечи.

— Не волнуйтесь, — сказал Артур. — Он выбирает только взрослых.

— Тогда, может, это будешь ты?

— На меня гипноз не действует.

Впереди, провозгласил Линдеман, нас ожидают грандиозные события! Тем, кто не желает участвовать, не о чем тревожиться — он не перейдет границы, обойдет их стороной. Артист добрался до последнего ряда, неожиданно прытко вернулся назад и вскочил на сцену. Для начала, объявил он, сотворим что-нибудь простенькое, так, шутку, пустяк. Первый ряд, выйдите, пожалуйста, все вместе на сцену!

По залу пронесся шепот.

— Да, да, все! Вы не ослышались. И поскорее!

— А что он будет делать, если кто-нибудь от-

кажется? — прошептал Мартин. — Если кто-то просто возьмет и останется сидеть, — что тогда?

Все сидевшие в первом ряду поднялись. Тихо переговариваясь между собой, они недовольно поглядывали по сторонам, но все же повиновались и перешагнули через рампу.

— Встаньте в ряд! — командовал Линдеман. — Возьмитесь за руки!

Поколебавшись, они подчинились.

Прохаживаясь мимо них, Линдеман внушал им, что теперь они не смогут отпустить друг друга. Не смогут, потому что не захотят, а если не захотят, то и не станут этого делать, а раз не смогут, то можно предположить, что все они держатся друг друга. Произнося эти слова, он касался стоявших, трогал их за руки. Держитесь крепче, говорил он, как можно крепче, еще крепче, чтобы никто не выпал из строя, вот так, никто не сможет отпустить другого, все держатся крепко, неразрывно. Кто хочет попробовать разорвать строй, пускай сделает это сейчас!

Никто не разжал хватки. Линдеман обернулся к залу, который ответил ему неуверенными аплодисментами. Ивейн наклонился вперед, чтобы получше разглядеть лица стоящих на сцене. Все они казались нерешительными, отсутствующи-

ми и словно застывшими в оцепенении воли. Невысокий мужчина крепко сжимал зубы, у дамы с пучком на голове тряслись ладони, как будто она и хотела вырваться, но руки соседей и ее собственные руки были слишком сильны.

Гипнотизер сообщил, что сосчитает до трех, после чего они разомкнут строй.

— Итак, один… Два… — Он медленно поднял руку. — И… Три!

Раздался щелчок пальцев. Нерешительно, словно против своей воли, испытуемые отпустили друг друга и озадаченно уставились на свои ладони.

— Теперь быстро возвращайтесь на свои места, — поторопил их артист, хлопая в ладоши. — Скорее, скорее!

Дама с пучком была бледна и шла, пошатываясь. Линдеман осторожно взял ее под локоть и проводил до лестницы, нашептывая что-то ей на ухо. Когда он отпустил ее, ее движения стали увереннее, она смогла спуститься и усесться обратно в кресло.

Это был небольшой эксперимент, произнес гипнотизер. Просто пустячок, чтобы с чего-то начать. Перейдем же к более серьезным вещам. Он приблизился к рампе, снял очки и, сощурившись,

принялся всматриваться в зал.

— Вот вы, господин в свитере передо мной, и вы, господин сразу за ним, и вы, юная госпожа, — прошу подняться ко мне!

С вымученными улыбками все трое взгромоздились на сцену. Девушка стала махать кому-то рукой. Линдеман неодобрительно покачал головой, и она тут же прекратила. Он встал рядом с первым зрителем, высоченным бородатым мужчиной, и прикрыл ему ладонью глаза. Некоторое время он что-то шептал ему на ухо и вдруг крикнул: «Усни!» Мужчина тут же опрокинулся назад, гипнотизер успел подхватить его и уложить на пол. Затем он подошел к стоявшей рядом девушке, и произошло то же самое. Та же участь ждала и третьего. Все они лежали на сцене, не шевелясь.

— А теперь будьте счастливы!

Тут необходимо кое-что пояснить, сообщил Линдеман, повернувшись к залу, снял свои очки в роговой оправе, вытащил из нагрудного кармана зеленый платочек и принялся протирать стекла. Те глупые внушения, которые столь охотно навязывают своим подопытным посредственные гипнотизеры — бесталанные халтурщики, строящие из себя невесть кого: как и во всякой профессии, здесь их хватает, — всем хорошо

известны: жар или леденящий холод, остолбенение, воображаемые падения или полеты, не говоря уж о всеми любимом фокусе с забыванием своего имени… Тут он запнулся и задумчиво огляделся — жарковато здесь, не правда ли? Душно невероятно. С чего бы? Линдеман промокнул лоб платком. Ну так вот, таких нелепостей все уже навидались, и на них он задерживаться не будет. Бог мой, какая духота!

Ивейн отвел со лба мокрую прядь. Казалось, от пола волнами поднимается жар; воздух был влажен. Лицо Эрика тоже блестело. Повсюду обмахивались программками.

Однако, сказал Линдеман, с духотой наверняка можно что-то сделать. Не стоит переживать: наверняка этим уже занимаются, в театре ведь есть умелые техники. Скоро уже включат систему климат-контроля, наверняка это вот-вот произойдет. Здесь, на сцене, уже слышно, как жужжат кондиционеры. Чувствуется, что подул ветер. Он запахнул воротник. А теперь и вовсе сквозит, и неслабо! Удивительно, какие мощные нынче кондиционеры. Подув на руки, Линдеман принялся переминаться с ноги на ногу. Как же холодно стало, просто жуть, мороз!

— Что он такое несет? — спросил Артур.

— Ты не чувствуешь? — подал голос Ивейн. У него изо рта вырывались клубы пара, ноги онемели, дышал он с трудом. У Мартина стучали зубы. Эрик высморкался.

— Нет, — ответил Артур.

— Как, вообще ничего?

— Я же сказал, на меня эти штуки не действуют.

Но довольно, продолжил Линдеман. Буде. Довольно. Как он уже говорил, ему не хотелось бы тратить время на баловство. Он намерен тут же, без промедления, приступить к кое-чему действительно интересному — а именно к непосредственной манипуляции силой духа. Господа, лежащие на полу, уже некоторое время послушно следуют его указаниям. Они счастливы. Здесь и сейчас, под взглядом достопочтенной публики, они переживают самые выдающиеся мгновения своего бытия.

— Подымитесь!

Трое испытуемых неловко зашевелились и, приподнявшись, сели.

— Теперь смотри! — велел он женщине посередине.

Та открыла глаза. Ее грудь вздымалась и опускалась. В том, как она дышала и поводила глазами,

было что-то странное. Ивейн не мог понять, что, но чувствовал, что это нечто сложное и труднодоступное. Он заметил, как дама в ряду перед ним отвела взгляд от сцены. Сидевший рядом с нею мужчина возмущенно качал головой.

— Закрой глаза! — приказал гипнотизер.

Веки девушки тут же опустились. Рот ее был приоткрыт, по подбородку тонкой струйкой стекала слюна. Ее щеки блестели в ярком свете софитов.

Увы! Ничто не вечно, возвестил Линдеман, и прекрасное проходит стремительней всего. Только что жизнь казалась непостижимо прекрасной, но ведь на самом деле все преходяще, все дряхлеет и умирает, не зная никаких различий. Почти все время мы стараемся об этом забыть. Но не сейчас, нет! Не в эту минуту.

— Теперь вы знаете, каково все по-настоящему.

Бородач застонал. Женщина медленно отклонилась назад и закрыла глаза руками. Второй мужчина принялся тихонько всхлипывать.

И тем не менее, продолжал гипнотизер, в жизни есть место и радости. Жизнь — лишь краткий день, который предваряет и завершает бесконечная ночь. Именно поэтому стоит как можно

сильнее радоваться светлым минутам и плясать, покуда светит солнце! Он захлопал в ладоши.

Лежавшие покорно встали. Линдеман отбивал такт, сначала медленно, затем все быстрее. Троица подскакивала, поворачивая головы и дергая конечностями, словно марионетки. В зале стояла мертвая тишина, никто не мог даже кашлянуть или прочистить горло — казалось, всех охватил ужас. Лишь со сцены доносились покряхтывание, топот и скрип половиц.

— Теперь ложитесь обратно, — произнес Линдеман, — и видьте сны!

Двое тут же шлепнулись на пол, и только мужчина слева остался стоять, шаря перед собой руками, словно слепой. Но вскоре и у него подкосились колени, и он больше не шелохнулся. Склонившись, Линдеман внимательно его осмотрел, потом повернулся к зрителям.

Теперь он намерен провести куда более сложный эксперимент. Это высший пилотаж; на такое способны немногие.

— Спите крепко. Еще крепче. Крепче, чем когда бы то ни было. Вам снится ваша новая жизнь. Сначала вы дети, потом вы учитесь, взрослеете, боретесь, надеетесь и страдаете, побеждаете и проигрываете, любите и теряете, старитесь,

слабеете, дряхлеете и умираете, все это стремительно проносится перед вашим взором, а когда я скажу, вы откроете глаза — и всего этого как не бывало.

Он скрестил руки, повернулся к залу и несколько мгновений стоял, ничего не говоря.

Этот эксперимент, произнес он наконец, удается не всегда. Бывает, что испытуемый просыпается — и выясняется, что он так ничего и не пережил. Другие, наоборот, просят помочь им забыть сон, потому что переживание чересчур их смутило и они больше не могут верить тому времени и тем обстоятельствам, в которых живут. Он взглянул на часы. Но пока что, дабы скоротать ожидание, проделаем несколько простых трюков. Есть ли в зале дети? Он привстал на цыпочки. Вот вы, в пятом ряду, вы, барышня с краю, и вы, молодой человек, как две капли воды похожий на своего соседа, — прошу ко мне!

Ивейн посмотрел сначала направо, потом налево, потом оглянулся назад и вопросительно ткнул себя в грудь пальцем.

— Да, ты, — ответил Линдеман.

— Ты же сказал, что он выбирает только взрослых, — прошептал Ивейн.

— Значит, я был неправ.

Мальчик почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Сердце застучало. Двое других детей уже пробирались к подмосткам. Линдеман глядел на него, не отрываясь.

— Хочешь, сиди, — бросил Артур. — Приказать тебе он не может.

Ивейн медленно встал и огляделся по сторонам. Взгляд каждого зрителя в этом зале, во всем этом театре, был направлен на него. Нет, Артур и тут неправ: отказываться неуместно. В конце концов, это сеанс гипноза, и если уж ты на него пришел, то придется поучаствовать. Он слышал, что отец бормочет ему что-то еще, но разобрать, что, он не мог, так громко колотилось его сердце, да и ноги уже несли его вперед. Он протиснулся мимо коленей соседей по ряду и направился по проходу к сцене.

До чего же там, наверху, было светло! Софиты оказались ярче, чем он думал, а очертания людей в зале казались условными. Трое взрослых лежали без движения, никто не шелохнулся, и создавалось впечатление, будто они даже и не дышали. Ивейн обратил взор в темноту, но отца с братьями не разглядел. Очутившись перед ним, Линдеман опустился на колени, осторожно, словно тот был хрупким предметом мебели, ото-

двинул его на шаг назад и взглянул ему прямо в лицо.

— Мы справимся, — негромко произнес гипнотизер.

Вблизи он выглядел старше. В уголках глаз и губ Линдемана проглядывали морщины, грим был наложен небрежно. Если бы кто-то рисовал его портрет, то его внимание в основном сосредоточилось бы на глубоко посаженных глазах — глазах беспокойных, трудноразличимых за стеклами очков; по всей вероятности, то, что гипнотизеры пристально смотрят подопытным в глаза, заставляя раствориться в их взгляде, было всего лишь мифом. Кроме того, от него пахло мятой.

— Как тебя зовут? — спросил артист уже несколько громче.

Сглотнув, мальчик ответил.

— Расслабься, Ивейн, — произнес Линдеман, повысив голос так, чтобы его услышали зрители в первых рядах. — Сложи руки. Скрести пальцы.

Ивейн повиновался, думая, как это вообще возможно — расслабиться, стоя на сцене перед такой толпой народа. Наверняка гипнотизер говорил не всерьез, а просто пытался сбить его с толку, чтобы он не мог сосредоточиться.

— Вот так, хорошо, — обратился Линдеман уже ко всем троим стоящим на сцене детям, так, чтобы его слышали все зрители. — Успокойтесь, расслабьтесь! Вот только расцепить руки вы уже не можете. Ваши руки словно приросли друг к дружке, у вас ничего не выйдет!

Это была неправда. Ивейну не составило бы никакого труда расцепить руки, он не чувствовал никакой преграды, никакого сопротивления. Вот только портить номер не было резона. Ему хотелось одного — чтобы все это закончилось.

Гипнотизер продолжал вещать. В его речах то и дело проскальзывало слово «Расслабьтесь!», он все повторял, чтобы ребята внимательно его слушали и повиновались. Может быть, на тех двоих это и действовало, но Ивейн ни малейшего воздействия не ощущал. Он чувствовал себя так же, как несколько минут назад, никаким трансом и не пахло. А еще ему хотелось в туалет.

— Попробуй, — обратился Линдеман к мальчишке, стоявшему рядом с ним. — Расцепи руки! У тебя ничего не получится. Попытайся, но у тебя не выйдет!

Раздался глубокий, грохочущий звук; лишь спустя пару мгновений Ивейн понял, что это смех. Публика смеялась над ними. Но со мной это

не пройдет, подумал он. Наверняка гипнотизер заметил, что с ним этот фокус не работает, потому и не обращается к нему.

— Поднимите правую ногу, — приказал артист. — Все трое. Сейчас же!

Ивейн увидел, что мальчик с девочкой подчинились приказу, и ощутил, как все взгляды обратились на него. На лбу у него выступил пот. Что ему оставалось делать? Он задрал ногу. Теперь все подумают, что он тоже находится во власти гипноза.

— Забудь свое имя, — произнес Линдеман, обращаясь у нему.

Ивейн почувствовал, как внутри у него вскипает гнев. Происходящее постепенно переходило все грани разумного. Если тот еще раз к нему обратится, он не сможет смолчать и будет вынужден опозорить его перед всеми.

— Скажи, как тебя зовут?

Ивейн кашлянул, прочистив горло.

— Ты не можешь! Ты забыл свое имя, у тебя не получится ответить. Как тебя зовут?

Наверное, дело было в неловкости его положения, в том, как ярко бил в глаза свет, в том, что стоять на одной ноге перед толпой было совсем не просто — пришлось полностью сосредоточиться

на удержании равновесия. Нет, ему изменила вовсе не память, а голос. Он застрял у него в глотке и отказывался звучать. Что бы у него сейчас ни спросили, ему пришлось бы хранить молчание.

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать, — услышал он свои слова. Значит, каким-то усилием воли немоту можно было преодолеть.

— Как зовут твою мать?

— Катарина.

— Как зовут твоего отца?

— Артур.

— Это вон тот господин в зале?

— Да.

— А как зовут тебя?

Он молчал.

— Ты не знаешь?

Разумеется, он знал. Он чувствовал очертания своего имени у себя на языке, знал, где именно оно хранится в памяти, ощущал его, но ему казалось, что тот, кому оно принадлежит, и тот, кого спрашивал Линдеман, — это два разных человека. Все перемешалось, да все это было не важно по сравнению с тем, что он стоял на сцене, сцепив руки и задрав ногу, у него чесался нос и ему хотелось в туалет. И вот уже имя само всплыло у него

в голове: Ивейн, ну конечно же, его зовут Ивейн, он набрал воздуха в легкие, раскрыл рот и…

— Ну, а ты? — обратился Линдеман к стоявшему рядом мальчишке. — Ты помнишь, как тебя зовут?

Но теперь-то я вспомнил, хотел было крикнуть Ивейн, теперь-то я могу ответить! Но так ничего и не произнес. Его охватило чувство облегчения от того, что гипнотизер занялся кем-то другим. Он слышал, как тот задает детям какие-то вопросы, они что-то говорят в ответ, а зрители смеются и аплодируют. Чувствовал, как по лбу стекают капли пота, но стереть их не решался — стыдно шевелить руками, раз все считают, что ты в трансе.

— Ну вот, все и позади, — раздался голос Линдемана. — Было совсем не страшно, правда? Расцепите руки, встаньте на обе ноги. Вы уже помните, как вас зовут. Все позади. Просыпайтесь, все позади.

Ивейн опустил ногу, что, разумеется, далось ему без труда — он уже давно мог бы это сделать.

— Все хорошо, — тихо произнес гипнотизер и положил ладонь ему на плечо. — Все позади.

Следом за другими Ивейн спустился с подмостков. Ему хотелось спросить у других детей, что

они чувствовали, что думали и видели, каково это — действительно пребывать под гипнозом. Но вот он уже дошел до третьего ряда, сидящие потеснились, чтобы дать ему пройти, он протиснулся мимо коленей, сел на свое место и глубоко вздохнул.

— Ну как? — шепотом спросил Мартин.

Ивейн пожал плечами.

— Ты помнишь, что произошло, или все забыл?

Только Ивейн хотел ответить, что он, разумеется, все помнит, а то, что произошло, было всего лишь нелепым фокусом, как заметил, что сидевшие перед ними обернулись. Они смотрели не на сцену, а на него. Все зрители в зале на него уставились. Линдеман солгал — до «позади» было еще далеко.

— Это он? — спросил гипнотизер.

Ивейн посмотрел на сцену.

— Это твой отец?

Мальчик посмотрел на Артура, потом на Линдемана, потом снова на Артура. И кивнул.

— Не поднимитесь ли вы ко мне на сцену, Артур?

Артур покачал головой.

— Вам кажется, что вы не хотите. Но на самом

деле хотите. Поверьте.

Артур рассмеялся.

— Это не больно, не опасно, вам даже может понравиться. Сделайте нам одолжение.

Отец снова покачал головой.

— Вам и впрямь не хочется знать, что будет?

— На меня эти штуки не действуют! — крикнул Артур.

— Возможно. Очень может быть, такое тоже иногда случается. Именно поэтому вам и стоило бы подняться ко мне.

— Выберите кого-нибудь другого.

— Но мне бы хотелось видеть именно вас!

— Почему?

— Потому что мне так хочется. Потому что вы убеждены, что не хотите.

Артур покачал головой.

— Ну же!

— Давай, иди уже, — прошептал Эрик.

— Это же так интересно, — поддакнул Мартин.

— На нас все смотрят, — добавил Ивейн.

— Ну и что? — парировал Артур. — Пускай смотрят! Почему вы, дети, всегда всего стыдитесь?

— Давайте все вместе позовем Артура! — воскликнул Линдеман. — Отправьте его ко мне, покажите, что хотите его видеть, похлопайте, ес-

ли желаете, чтобы он вышел на сцену. Хлопайте изо всех сил!

Грянули оглушительные аплодисменты, раздались крики и топот, словно ни для кого из присутствующих не было ничего важнее желания гипнотизера, словно увидеть Артура на сцене было бы для всех них высшим счастьем. Шум становился все громче, к нему примешивались новые и новые голоса: публика аплодировала и подзадоривала Артура. Тот не двигался с места.

— Ну пожалуйста! — вскрикнул Эрик.

— Пожалуйста, выйди к ним, я тебя прошу, — присоединился Мартин.

— Только ради вас, — ответил отец и встал. Пробравшись сквозь ликующую толпу к проходу, он поднялся на подмостки. Линдеман сделал быстрое движение рукой, и в зале воцарилась тишина.

— Со мной вам не повезло, — произнес Артур.

— Вполне возможно.

— На меня эти штуки правда не действуют.

— Тот милый мальчик — это ваш сын?

— Мне очень жаль, но вы действительно выбрали не того. Вам нужен был человек, которого вы бы сначала огорошили, а потом втянули в милую беседу, выведали бы у него что-то, над чем могли

бы посмеяться, позабавив зрителей. Может, опустим это? Вы не сумеете меня загипнотизировать. Я знаю, как работает гипноз. Немного давления, немного любопытства, желание оправдать ожидания, страх сделать что-то не так — и вуаля! И, разумеется, жажда новых впечатлений. Но ко мне это все не относится.

Линдеман молчал. Стекла его очков блестели в свете софитов.

— Они слышат наш разговор? — указал Артур на лежащие неподвижно тела.

— Сейчас они заняты другим.

— И вы хотите сотворить со мной нечто в этом роде? Заставить меня придумать себе новую жизнь?

Как же у отца получается так, подумал Ивейн, что в зале слышно каждое его слово — микрофона у него нет, говорит он тихо, но все равно его речь звучит отчетливо. Он стоял в расслабленной позе, так, словно был с гипнотизером один на один и имел право задавать ему любые вопросы, приходящие ему в голову. И вид у него был уже не отсутствующий — напротив, казалось, что происходящее его забавляет.

Линдеман же впервые за все это время казался неуверенным. Он по-прежнему улыбался, однако

лоб его был нахмурен. Он взялся за оправу, снял очки, снова надел, потом опять снял, сложил и сунул в нагрудный карман, спрятав за зеленый платок. После этого он поднял правую руку и как бы накрыл ею лоб Артура.

— Смотрите на мою ладонь.

Артур усмехнулся.

Левой Линдеман коснулся его плеча.

— Смотрите на мою ладонь, не отводите взгляда, смотрите на нее. Смотрите на мою ладонь.

— Я и смотрю!

По залу пронесся смешок. Линдеман на мгновение скривился.

— Смотрите на мою ладонь, смотрите на нее. Смотрите на мою ладонь, только на нее, больше ни на что, смотрите на мою ладонь.

— Не вижу ничего необычного.

— А вы и не должны, — в голосе Линдемана сквозило недовольство. — Просто смотрите! Смотрите на мою ладонь, смотрите на нее, больше ничего не нужно.

— Вы пытаетесь сконцентрировать на себе мое внимание, так? Вот в чем дело. Внимание, направленное на само внимание. На то, как оно направлено на самое себя. Это замкнутый круг, и вот ты уже не можешь…

— Там, в зале, ваши сыновья?

— Верно.

— Как их зовут?

— Это имеет значение?

— Я спросил, как их зовут.

— Ивейн, Эрик и Мартин.

— Ивейн и Эрик?

— Как рыцарей Круглого стола.

— Расскажите о себе.

Артур промолчал.

— Расскажите о себе, — повторил артист. — Здесь все свои.

— Говорить особо не о чем.

— Какая жалость! Печально, если это и вправду так.

Линдеман опустил руку, наклонился к Артуру и посмотрел ему прямо в глаза. Было тихо, слышалось только негромкое жужжание, то ли стрекот кондиционера, то ли щелканье наэлектризованного воздуха вокруг софитов. Гипнотизер сделал шаг назад, скрипнула половица, один из лежавших на сцене застонал.

— Кто вы по профессии?

Артур молчал.

— Или вы ничем не занимаетесь?

— Я пишу.

— Вы пишете книги?

— Если бы то, что я пишу, напечатали, то да, это были бы книги.

— Вам отказывали?

— Пару раз.

— Очень жалко.

— Ничего страшного.

— Вас это не смущает?

— Я не тщеславен.

— Ой ли?

Артур опять промолчал.

— Вы не похожи на человека, ничего не ждущего от жизни. Вы бы хотели считать себя таковым, но это не так. Я тоже вас таковым не считаю. Никто в это не верит. Чего вы на самом деле хотите? Здесь все свои. Скажите, чего вам хочется?

— Исчезнуть.

— Отсюда?

— Отовсюду.

— Из дома?

— Отовсюду.

— Из привычной обстановки?

— В привычной обстановке чахнешь.

— Вы говорите так, словно не очень-то довольны жизнью.

— А кто нынче доволен?

— Отвечайте, пожалуйста.
— Да, я недоволен.
— И не счастливы?
— Нет, не счастлив.
— Повторите, пожалуйста.
— Я несчастлив.
— Как же вы это терпите?
— Ну а что же мне делать?
— Может быть, сбежать?
— Нельзя же все время убегать.
— Почему?
Артур промолчал.
— Ну а дети? Вы любите ваших детей?
— Детей надо любить.
— И правда, надо. Вы их всех любите одинаково?
— Ивейна люблю больше.
— Почему?
— Он больше похож на меня.
— А вашу жену вы любите? Здесь все свои.
— Она любит меня.
— Вопрос был не в этом.
— Она зарабатывает, она обо всем заботится, кем бы я был без нее?
— Может, без нее вы были бы свободны?
Молчание.

— Что вы думаете обо мне? Вы не хотели выходить на сцену, но вот вы здесь. Вы были уверены, что гипноз на вас не действует. Что вы думаете сейчас? Например, обо мне вы что думаете?

— Вы маленький человек. Вы не уверены в себе, потому и делаете то, что делаете. Потому что если бы вы не умели хотя бы этого, то были бы никем. Потому что когда вы не на сцене, вы заикаетесь.

Линдеман сделал паузу, словно хотел дать публике возможность посмеяться, но не раздалось ни звука. Его лицо стало бледным, как воск. Артур стоял прямо, словно аршин проглотил, руки свисали по бокам. Он не шевелился.

— Ну а ваша работа? Ваше писательство, ваше сочинительство? А, Артур? Об этом вы что думаете?

— Все это не важно.

— Почему же?

— Я убиваю время. Это не стоит внимания.

— И вас не смущает, что ваши произведения не печатают?

— Нет.

— И то, что у вас не получается стать хорошим писателем, вас тоже не тревожит? Нет?

Артур слегка отступил.

— Вам кажется, что вы не тщеславны, так?

Но, возможно, было бы лучше, если бы вы были тщеславны, Артур. Возможно, быть тщеславным лучше. Возможно, вам следовало бы постараться стать хорошим писателем, признаться самому себе, что вы хотите им быть. Следовало бы приложить усилия, взяться за работу, изменить свою жизнь. Изменить все. Все, Артур! Как думаешь, а?

Артур молчал.

Линдеман подошел еще ближе, поднялся на цыпочки и приблизил свое лицо к его лицу.

— Экая халатность. Зачем напрягаться, думал ты всю свою жизнь, правда? Ну а сейчас? Молодость прошла, все, что бы ты ни делал, обретает весомость, легкости бытия как не бывало — и что теперь? Жизнь коротка, Артур. А растратить ее можно еще быстрее. Что должно произойти? Чего ты хочешь?

— Исчезнуть.

— Отсюда?

— Отовсюду.

— Тогда слушай, — гипнотизер положил руку ему на плечо. — Это приказ, и ты будешь следовать ему, потому что ты хочешь ему следовать, а хочешь ты ему следовать потому, что я тебе приказываю, а приказываю я потому, что ты хочешь,

чтобы я тебе приказывал. С сегодняшнего дня ты начинаешь прилагать усилия. Чего бы это ни стоило. Чего бы это ни стоило. Повтори!

— Чего бы это ни стоило.

— Начиная с сегодняшнего дня.

— Начиная с сегодняшнего дня, — повторил Артур. — Чего бы это ни стоило.

— Во что бы то ни стало.

— Чего бы это ни стоило.

— И тебя не должно беспокоить то, что здесь произошло. Наоборот, ты будешь вспоминать об этом с радостью. Повтори.

— Вспоминать. С радостью.

— В конце концов, это все не важно. Все это игра, Артур, просто забава, чтобы убить время долгими вечерами. Как и твое сочинительство. Как и все, что делают люди. Я три раза хлопну в ладоши, и ты сможешь занять свое место в зале.

Гипнотизер хлопнул в ладоши — раз, другой, третий. По Артуру не было заметно никаких изменений. Он стоял все так же, вытянувшись, слегка откинув голову назад. Не было слышно ни звука. Он нерешительно повернулся и спустился по лестнице. То тут, то там раздались редкие хлопки, но лишь когда он подошел к своему месту, грянули аплодисменты. Линдеман поклонился и

указал на Артура. Тот улыбнулся бессмысленной улыбкой и повторил его жест.

В этом и заключается вся прелесть его профессии, отметил Линдеман, когда публика затихла, — никогда не знаешь, что готовит тебе грядущий день. Нельзя и предположить, с каким трудностями предстоит столкнуться. Но вот настала наконец пора продемонстрировать высший пилотаж, лучший номер, гвоздь программы. Слегка коснувшись виска девушки, он пробудил ее и спросил, что ей довелось пережить.

Она приподнялась, но едва ей удалось вымолвить несколько слов, как она разволновалась, и у нее перехватило дух. Девушка начала всхлипывать, задыхаться, хватать ртом воздух. Полились слезы. Рассказывала она о том, как была крестьянкой в горах Кавказа, о том, до чего трудными были суровые зимы ее детства, о братьях и сестрах, о матери, об отце, о муже, о скотине, о снегах.

— Давайте уйдем, — шепотом попросил Ивейн.

— Да, пожалуйста, давайте уйдем, — подхватил Эрик.

— Почему?

— Пожалуйста, — присоединился к ним Мартин. — Прошу, давайте уйдем! Прошу!

Стоило им подняться с мест, как по рядам

пронесся злобный смешок. Эрик сжал кулаки и постарался вообразить, что все это — игра его воображения, а Мартин впервые осознал, что люди могут злорадствовать совершенно без причины, вести себя грубо или подло без всяких на то оснований. Но точно так же, без причины, они могли вести себя хорошо, быть добрыми, приветливыми и готовыми помочь — все в одном. Но прежде всего люди были опасны. Осознание этого навсегда врежется ему в память, сольется с образом Линдемана, глядевшего со сцены, как они в спешке ретируются, и протиравшего очки зеленым платком. Когда Мартин последним покидал зрительный зал, их взгляды встретились: гипнотизер глядел на него, вскинув брови, улыбаясь, в уголке рта влажно поблескивал кончик языка. И вот с тихим щелчком затворилась дверь.

Всю обратную дорогу Артур насвистывал, барабаня пальцами по рулю. Мартин сидел рядом с ним, прямой как палка, Ивейн уставился в одно окно, Эрик — в другое. Отец дважды спросил, что побудило их уйти и почему, боже мой, почему дети постоянно всего стыдятся, но так как ему никто не ответил, Артуру оставалось лишь бросить, что каких-то вещей ему никогда не понять. А эта женщина, вдруг воскликнул он, и все эти

дурацкие россказни про русских крестьян — вот уж где они точно перестарались, наверняка она была его помощницей, это же даже ребенку ясно, ведь как в такое можно поверить! Артур включил радио, тут же выключил, опять включил, потом, подождав немного, выключил снова.

— А вы знаете, — спросил он, — что кондор летает выше всех?

— Нет, — ответил Эрик. — Я не знал.

— Так высоко, что иногда с земли его уже не видно! Как самолет. А иногда он поднимается на такую высоту, что путь вверх оказывается короче, чем назад, на землю.

— В смысле? — перебил его Ивейн. — Куда это — вверх?

— Ну, туда, вверх! — Артур потер лоб и на несколько мгновений закрыл глаза.

— Не понимаю, — сообщил Мартин.

— Да что здесь понимать! Скажи лучше, как дела в школе. Ты никогда ни о чем не рассказываешь.

— Все в порядке, — тихо ответил Мартин.

— Никаких проблем, никаких сложностей?

— Нет.

Артур включил радио и опять выключил.

— Ну все! — воскликнул он. — На выход!

Мартин, Эрик и Ивейн озадаченно переглянулись. Только теперь они заметили, что подъехали к дому, где жил Мартин.

Тот вышел.

— Что, мы тоже? — спросил Ивейн.

— Разумеется.

Близнецы нерешительно вышли из машины, в ней остался один Артур. Эрик опустил взгляд и рассматривал свои башмаки. Вдоль трещины в асфальте спешил муравей, дорогу ему преграждал серый жук. Раздави жука, раздался голос у него в голове, раздави его, ну же, скорее, тогда, может быть, все кончится хорошо. Он приподнял ногу, но поставил ее на землю, оставив жука в живых.

Артур опустил стекло.

— Сынишки мои, — произнес он, засмеялся, закрутил обратно ручку и нажал на газ.

Все трое смотрели, как машина удаляется, становится все меньше и наконец исчезает за углом. Некоторое время никто не говорил ни слова.

— Как нам отсюда выбраться? — подал в конце концов голос Ивейн.

— Через пять кварталов есть автобусная остановка, — ответил Мартин. — Садитесь, выходите на седьмой, пересаживаетесь на другой автобус,

проезжаете еще три остановки, и будет метро.

— Можно к тебе? — спросил Эрик.

Мартин покачал головой.

— Почему?

— Мама несколько своеобразно к этому относится.

— Но мы ведь твои братья!

— Вот именно.

Когда они все-таки позвонили в дверь, мать Мартина на удивление быстро вошла в их положение. Невероятно, до чего же вы похожи, повторяла она снова и снова. Она угостила близнецов кока-колой и засахарившимися мармеладными мишками, которые те съели, дабы не показаться невежливыми, — и, разумеется, позволила Ивейну воспользоваться телефоном, чтобы позвонить домой.

Потом они поднялись в комнату Мартина, где он достал маленький пневматический пистолет, подаренный ему отцом всего пару месяцев назад, который ему приходилось хорошенько прятать от матери. Они встали у окна и по очереди принялись целиться в дерево через дорогу; его очертания постепенно расплывались в наступавших сумерках. Эрик дважды попал в ствол и дважды в листву, Ивейн — дважды в ствол, но

ни разу в листву, а Мартин — один раз в листву, но ни разу в ствол. Они понемногу сближались и начинали понимать, что это на самом деле значит — быть братьями.

Тут подъехала машина, и громкий гудок заставил близнецов броситься вниз по лестнице на улицу. На вопрос матери, что случилось и где отец, они не знали, что ответить. Но когда в начале первого ночи от Артура пришла телеграмма, мать подняла их из постели и заставила выложить все начистоту.

Артур взял с собой заграничный паспорт и снял все деньги с их общего счета. В телеграмме было всего две фразы. Первая гласила, что у него все хорошо и не нужно за него волноваться. Вторая — что не надо его ждать, он вернется очень не скоро. И действительно, так и случится — в следующий раз трое сыновей увидятся с ним уже взрослыми. Однако за эти годы свет увидят те книги, благодаря которым мир и знает имя Артура Фридлянда.

# Жития святых

Исповедую Богу всемогущему. Я слышу их голоса, но ничего не вижу — так слепит меня солнце, проникающее в окна. Что я согрешил много мыслью. Стоящий рядом министрант зевает. Словом и делом. Я тоже зеваю, глядя на него, но вынужден подавить зевок и оттого стискиваю зубы так, что на глазах выступают слезы.

Лучи вот-вот уже лягут под углом, и от моря теней отделится небольшая группа: пятеро старух, приходящих из раза в раз, дружелюбный полноватый мужчина, не очень дружелюбный полноватый мужчина, печальная юная дева и фанатик. Фанатика зовут Адриан Шлютер. Он часто пишет мне письма, от руки, на дорогой бумаге. Об электронной почте он, видно, и не слыхал.

Моя вина, моя вина, моя величайшая вина. Не могу привыкнуть, что приходится так рано вставать. «Хвалим Тебя, благословляем Тебя», — грянул орган. Я не попадаю почти ни в одну ноту, но это часть профессии — почти никто из священников не умеет петь. Прими молитву нашу. Музыка смолкает. Покуда мы пели, солнце

встало, в окнах радостно пляшут разноцветные огни, снопы света тонкими остриями пронзают воздух, в каждом взмывают клубы пыли, словно снег в метель. Так рано — а уже так жарко. Лето вступает во времена безжалостной страды.

Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Все так же зевая, министрант кладет на амвон требник. Будь на то моя воля, бедный мальчик еще спал бы в своей кроватке. Сегодня пятница, проповедь читать не надо — и на том спасибо. Слово Божие. Все садятся, вперед выступает Марта Фруммель, ей семьдесят восемь лет, и через день во время утрени она читает Евангелие.

Первое Послание к коринфянам святого апостола Павла. И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Марта — женщина добрая, мягкосердечная, вот только голос у нее скрипучий, как старая шарманка. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не

на мудрости человеческой, но на силе Божией.

Слово Господне. Пошатываясь, Марта Фруммель возвращается на свое место. Паства поднимается, затягивает: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Солнце уже не слепит, и можно разглядеть грубоватые силуэты в витражном стекле: вот агнец, вот уставившийся на него Спаситель, вот хлебный ломоть в лучистом венце креста. Зданию церкви столько же лет, сколько мне самому, стены намеренно скошены, вместо алтаря — неотесанный кусок гранита, по неизвестной причине установленный не на востоке, а на западе, так что солнце во время утрени слепит вовсе не прихожан, как полагается, а меня.

Чтение из святого Евангелия. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними

моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Я захлопываю книгу. Как точны они, эти слова из чтения на восьмое августа две тысячи восьмого года, — но это всего лишь случайное совпадение.

Символ веры. Откашлявшись, я возглашаю то, во что и сам очень хотел бы верить: во единого Бога, Отца всемогущего, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и в Духа Святого, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Да, было бы хорошо, если бы так и было.

Молитва верных. Молим Тебя о доминиканцах, чтобы они с усердием трудились во славу Твою, ибо сегодня почитаем память святого Доминика. Молим Тебя — услышь нас, Господи. Молим тебя об ищущих, да обрящут, услышь нас, Господи. О всех больных и обо всех уклонившихся от упования и веры. Как-то раз на семинаре по литургике мы рассуждали о том, есть ли смысл просить всеведущую сущность об исполнении желания.

Отец Пфаффенбихель тогда объяснил, что молитва оглашенных не имеет особого значения и в обряде ее вообще-то можно опустить. Знал бы он мою паству! В том году не прошло и двух недель без этой молитвы, как прихожане уверились, что Бог оставил их. Девять мейлов с жалобами мне, еще три, к сожалению, епископу — и в придачу одно официальное заявление о выходе из церкви. Пришлось послать фрау Коппель бонбоньерку и нанести ей два визита, чтобы переубедить.

Евхаристия. Министрант омывает мне руки, орган исторгает первые ноты славословия, я вздымаю руки, охватив патену со Святой Жертвой. Этот миг преисполнен величия и мощи. Можно даже подумать, будто люди действительно верят, что облатка обращается в плоть распятого. Но они, конечно, не верят. В это невозможно поверить, если только ты не сошел с ума. Но можно верить в то, что в это верит священнослужитель, который сам, в свою очередь, верит в то, что в это верит его приход; можно на автомате повторять затверженные слова, запретив себе думать над их смыслом. Свят, свят, свят, скандирую я, и меня на самом деле посещает такое чувство, будто я окружен ореолом какой-то силы. Магические ритуалы, насчитывающие тысячи лет, древнее

Рождества Христова, древнее огня и стали. Еще первобытные люди грезили о растерзанных богах. Потом возникло сказание об Орфее, разорванном богинями мести, возник миф об Осирисе, сошедшем в Царство Тьмы и вновь соединенном в живую плоть, и лишь много позже появился образ Назаретянина. Старая, пропитанная кровью фантазия, день за днем воскрешаемая во множестве мест. Как просто было бы назвать сие действо символическим актом, но это была бы ересь. В это надлежит верить, ибо так предписано. Но поверить в это невозможно. Надо, но невозможно. Вознесем сердца, призываю я. Возносим ко Господу, ответствуют мне. Велика тайна веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Министрант касается алтарных колокольцев, их звон, дрожа, повисает в воздухе, и когда моя паства опускается на колени, скрипят скамьи.

Держа гостию, я воздеваю руки. Тишина такая, что слышен шум проезжающих по улице машин. Опустив облатку, я, как положено, преклоняю колена. Меня тут же прошибает пот, мне трудно держать равновесие, на прошлой неделе я завалился — было ужасно стыдно. Держись, Мартин, держи спину прямо, держись! Пошатываясь и об-

ливаясь потом, я выпрямляюсь. Спасительными заповедями вдохновленные, выдыхаю я, дерзаем взывать.

Отче наш, сущий, да святится, да придет, да будет, фразы, отшлифованные тысячелетним повторением, избавь нас, Господи, аминь. Преломив над патеной гостию, кладу ее в рот и на мгновение погружаюсь в наслаждение ее суховатым вкусом. На Тело Христово она вряд ли похожа, но вкусна. Орган вступает с «Агнцем», к причастию подходят пятеро моих прихожан. Я с опаской думаю о стариках, желающих, чтобы преображенный хлеб им клали на язык, как было принято до Второго Собора; трудно положить что-нибудь на язык, не коснувшись его кончиками пальцев. Но сегодня мне повезло: три пары протянутых рук и всего один сморщенный старческий язык. Последним, как всегда, подходит Адриан Шлютер.

— Тело Христово, — произношу я.

— Во веки веков, аминь, — отвечает он и глядит при этом не на гостию, а на меня, пристально и не мигая, словно хочет мне что-то доказать. Он вернется — сегодня вечером, завтра утром, завтра вечером, он будет представать передо мной каждый день, он — испытание мое.

Орган берет последние аккорды и умолкает. Я приступаю к заключительному обряду. С умиренной совестью и сердцем, свободным от лукавства, мы сможем нести всем людям истинную радость и мир. Господь с вами.

И со духом твоим.

Идите в мире Христовом.

Благодарение Богу.

Спешу первым оказаться у выхода, распрямляюсь, возвышаясь в сонме врывающихся внутрь жарких утренних лучей. Рука Марты Фруммель — как наждачная бумага. Фрау Вигнер ссутулилась, у нее нехорошо с сердцем, да и со спиной тоже. Фрау Коппель кажется здоровенькой, но вид у нее такой же одинокий, как всегда. Фрау Хельгнер очень слаба — впредь я буду видеть ее нечасто. Кто же так поступает с людьми? Более всего мне хотелось бы обнять их, но я толстый и потный — вряд ли кому-то это придется по душе. Поэтому я просто жму руки и улыбаюсь. Вот все и ушли, остался один человек.

— Дорогой мой герр Шлютер, я сегодня немного тороплюсь.

— Вопрос веры, всего один вопрос. Отец Фридлянд, он не дает мне покоя.

Стараюсь глядеть на него участливо.

— Троица. Я читал Тертуллиана. Читал Ранера. И, разумеется, Его Святейшество Ратцингера. Но я не понимаю.

— Чего именно вы не понимаете?

— Святого Духа.

Во взгляде моем сквозит отчаяние.

— Я понимаю Отца, понимаю Сына, понимаю разницу между Сыном и Духом Святым. Но в чем разница между Духом Святым и Отцом? Барт говорит, что Бог — это субъект, Дух Святой — содержание, а Сын — это то, как Бог открывается нам.

— Тайна сия велика.

Сработало. Шлютер моргнул. Что бы я делал без слова «тайна»?

— И она открылась нам, — я умолкаю, терзаемый сомнениями: «открылась» или «была открыта» — как правильно? Надо бы проверить. — Господь поведал нам, что это так. Мы можем попытаться постичь это откровение разумом. Но разум наш имеет границы. И за пределами этих границ начинается вера.

— Я и не должен этого понимать?

— В этом нет необходимости.

— То есть понимать вовсе даже и не следует?

— Вы не обязаны.

Его рука на ощупь мягкая и сухая, рукопожатие даже не вызывает неприятных ощущений. На сегодня я от него отделался. Он собирается уходить, я с облегчением спешу в ризницу.

Министрант помогает мне снять облачение. Стоит мне остаться в одной рубашке, как я начинаю сторониться своего отражения в зеркале. При этом в моей полноте нет ничего зазорного: великий католик Честертон был упитанным мужчиной, да и сам Фома Аквинский представляется мне человеком мудрым, но не лишенным округлостей. По сравнению с ними я практически схожу за стройного. Я опускаюсь на диван; на подлокотнике лежит мой кубик Рубика. Как всегда, от одного его вида во мне просыпается радость, и руки сами тянутся к нему. Недавно мальчик спросил меня, что это и зачем он нужен. Вот так проходит слава земная. Двадцать лет назад кубик Рубика был самым узнаваемым предметом в мире.

— Тебе уже пора в школу? — обращаюсь я к нему.

Он кивает. Движимый искренним сочувствием, я наклоняюсь к нему и глажу по голове. Он отдергивается, и я тут же убираю руку. Какая глупость с моей стороны. В наше время священ-

нику надо быть осторожней, ни один жест уже не кажется невинным.

— У меня вопрос, — говорит он. — На прошлой неделе у нас было религиоведение, и там говорили, что Бог всеведущ. Что он знает, какое мы примем решение, еще до того, как мы его приняли. Как же при этом мы можем быть свободными?

Ветер раздувает кисейные занавески, на паркетном полу пляшут солнечные зайчики. Крест на шкафу отбрасывает длинную тень.

— Тайна сия велика.

— Но…

— Когда я говорю о тайне, это означает, что она откры… Была открыта нам. Господь знает, как ты поступишь. Но при этом ты все равно свободен. Поэтому ты и несешь ответственность за свои поступки.

— Но ведь одно с другим не сочетается.

— Потому это и есть тайна.

— Но если Господь знает, как я поступлю, то я ведь не могу совершить какой-то другой поступок! Почему же тогда я должен за него отвечать?

— Потому что это тайна!

— Что значит — тайна?

— Разве тебе не пора в школу?

— Прошу прощения! — в дверях стоит служка, цистерцианец-конверз по имени Франц Ойген Легнер. У него маленькие глазки, и он всегда плохо выбрит. Вот уже два месяца он прислуживает здесь, а до этого был занят где-то в дремучих Альпах. Легнер содержит храм в чистоте, обновляет наш сайт, играет на органе и — не могу избавиться от этого подозрения — шлет епископу отчеты о моей работе. Жду не дождусь, когда он совершит какую-нибудь ошибку, которая дала бы мне возможность пожаловаться на него — в качестве своего рода тактической превентивной меры. Но вот только он, увы, ошибок не совершает. Весьма осторожный малый.

— Ты ведь знаешь, что сделал вчера, — говорит он мальчику.

— Что я такого сделал?

— Это не имеет значения. Просто ты об этом знаешь. Ты это помнишь.

— Помню.

— И при этом ты все равно был свободен. Ты знаешь, как поступил, но мог бы поступить иначе.

— Но ведь это было вчера!

— Но для Господа, — в голосе конверза появляются мягкие нотки, — не существует ни вчера, ни сегодня. Для него нет разницы между настоящим

моментом, тем моментом, что был до него, и тем, что будет сто лет спустя. Ему точно так же известно, что ты совершишь, как тебе известно, что ты совершил вчера.

— Не понимаю.

— И не нужно понимать, — говорю я. — Это тайна.

Супротив воли я вынужден признать, что впечатлен. Восемь лет учебы, из которых год я провел в Григорианском университете, — но такое объяснение мне и в голову бы не пришло.

Легнер глядит на меня так, словно прочел мои мысли, и победоносно обнажает зубы. И все же мне его жаль. Бедный тощий интриган! Куда завела тебя хитрость твоя?

Мальчик поднимает с пола свой рюкзак, и вот он уже за дверью. Пару секунд спустя я вижу в окно, как он плетется по улице. Закрываю глаза и быстро смешиваю цвета, вращая стороны кубика. Открываю и принимаюсь восстанавливать исходный порядок.

— Регистровые рукоятки свистят, — произносит Легнер. Он старается не смотреть на движения моих рук, ведь если бы он на них взглянул, то был бы впечатлен, а так опростоволоситься ему, конечно, не хочется. — У органа. Надо бы вызвать

мастера.

— Или, может быть, свершится чудо.

Господи, зачем я это сказал? Это было даже не смешно. Красная сторона кубика уже собрана.

Служка выжидающе смотрит на меня.

— Шучу, — бросаю я устало.

— Господь мог бы свершить чудо, — ответствует Легнер.

— Вне всякого сомнения.

Желтая тоже.

Он молчит, и я молчу.

— Но не свершит, — добавляю я.

И белая.

— Но это не невозможно.

— Нет, не невозможно.

Мы оба молчим. Синяя сторона готова. И зеленая.

— Но он мог бы, — говорит Легнер.

— Однако не свершит.

— Этого нам знать не дано.

— Нет, — соглашаюсь я и откладываю собранный кубик. — Не дано.

Раньше я частенько стоял перед зеркалом и с холодной яростью убеждал себя, что выгляжу недурно. Лицо у меня симметричное, кожа вполне приличная, рост достаточно высокий,

грудь и подбородок широкие, глаза совсем не маленькие, да и фигура подтянутая. В чем же тогда дело?

Сегодня мне кажется, что все это было лишь стечением обстоятельств. Нет никакой воли судьбы. И если бы я тогда решил спросить Лизу Андерсон как-то иначе или просто в другой день, все могло бы сложиться по-другому, и сейчас у меня, возможно, была бы семья, а я был бы метеорологом или редактором на телевидении.

Лиза училась со мной в одном классе и сидела чуть в стороне от меня, впереди. Когда она носила короткие рукава, я видел покрывавшие ее руки веснушки, а когда в окна заглядывало солнце, его лучи плясали в ее гладких темных волосах. На то, чтобы подобрать нужные слова, мне потребовалось пять дней.

— Не хочешь сходить в театр? Посмотреть «Кто боится Вирджинии Вулф»?

— Кто боится… кого?

Не то чтобы я любил ходить в театр. Я там скучал, там всегда было душно, а то, что произносили со сцены, — плохо понятно. Но кто-то сказал мне, что Лиза театр любит.

— Это название пьесы.

Она глядела на меня дружелюбно. Я не заи-

кался, к тому же вроде бы не чувствовал, что заливаюсь краской.

— Какой пьесы?

— В… театре.

— Что за пьеса?

— Если посмотрим, узнаем.

Лиза рассмеялась. Все шло хорошо. От облегчения рассмеялся и я.

Она посерьезнела.

С моим смехом и впрямь было что-то не так. Я нервничал, и он звучал несколько громче и звонче, чем следовало. Я тут же постарался это исправить и засмеяться как положено, но вдруг понял, что забыл, как это делается. Когда до меня дошло, как странно звучит мой хохот, я все-таки покраснел: кожа моя загорелась. Чтобы избежать неловкости, я снова рассмеялся, но вышло еще хуже, и я внезапно осознал, что стою перед Лизой, пялюсь на нее и продолжаю гоготать, а сам при этом наблюдаю за тем, как, гогоча, стою перед ней, все так же пялюсь и дальше гогочу. Румянец обжигал мне щеки.

Сегодня, к сожалению, не получится, сообщила Лиза.

— Но ты же только что…

Ей очень жаль, продолжила она, но она только

что поняла, что сегодня у нее нет времени.

— Вот жалость, — хрипло произнес я. — А завтра?

Она промолчала, а потом ответила, что, увы, завтра тоже не получится.

— Послезавтра?

Как ни печально, в ближайшие несколько недель она будет очень занята.

После этого я едва решался взглянуть на нее сзади. Но не мог помешать ей являться мне во снах. В них она была мила со мной, на все согласна и ловила каждое мое слово. Мы то блуждали вдвоем по лесу, то лежали рядом на лужайке, то оказывались в комнате, где свет был приглушен настолько, что я с трудом различал округлые очертания ее плеч, бедер, линию мягко струившихся волос. Проснувшись, я, все еще объятый желанием, но уже терзаемый стыдом, не мог понять, как еще мгновение назад мне чудилось, что это происходит на самом деле.

Пару месяцев спустя, на вечеринке, я разговорился с Ханной Лариш из параллельного класса. Во мне уже были две бутылки пива, воздух делался мягким, бархатистым, и как-то так случилось, что мы заговорили о кубике Рубика. Она тоже играла в этот кубик, он тогда был у каждого, но,

как и большинство, она так ни разу и не смогла собрать больше одной стороны.

Все очень просто, объяснил я. Начинать лучше всего с белой, потом нужно собрать на синей и красной букву «Т» — боковушку и середину. Так можно собрать второй слой, крутя середку вправо-влево, затем нужно правильно выставить середину третьего слоя — опять же, тут есть масса возможностей, можно так, можно эдак, продолжал я, вращая руками. Вся штука в том, чтобы быстро сообразить, какие боковушки поворачивать — тут готовых решений нет, все достигается постоянной практикой и с помощью интуиции.

Она слушала. Кубик Рубика был тогда на пике популярности. По телевидению выступали эксперты, в журналах печатались статьи о победителях соревнований. Голос не изменил мне даже тогда, когда я как будто случайно коснулся ее плеча, а стоило мне подойти на шаг ближе, чтобы лучше слышать ее сквозь громкую музыку, как Ханна забрала волосы назад и внимательно посмотрела на меня. О да, вдруг подумал я, все идет как надо, значит, в том же духе и надо продолжать. Была почата третья бутылка, за словом в карман я уже не лез — в том-то и была моя беда.

Я все говорил и говорил. Говорил о том, как

трудно было в самом конце правильно проставить угловые квадраты. О том, что, если бы еще немного потренировался, то мог бы претендовать на титул регионального чемпиона, а там и до чемпионата страны рукой подать. Я чувствовал, как утекает время, чувствовал, что скоро что-то должно произойти, и, чтобы скрыть волнение, продолжал болтать.

Она провела рукой по волосам, опустила взгляд, снова посмотрела на меня, и в ее жестах почувствовалось некоторое напряжение. Обеспокоившись, я затарахтел еще быстрее. Она еще раз провела пальцами по волосам, но ничего мне не ответила. А я продолжал болтать. Я ждал, что некий инстинкт подскажет мне, что делать дальше, но инстинкт этот безмолвствовал. Откуда же другие знали, как поступить? Где об этом было написано, где этому можно было научиться? Я посмотрел на часы, чтобы убедиться, что у нас еще есть время, но она истолковала это действие иначе и тут же сказала, что ей тоже пора домой. «Что, уже? — крикнул я. — Да как же! Нет, не сейчас!» Но на этом мой словарный запас исчерпался. Грохотала музыка, мы молчали. Рядом, в клубах сигаретного дыма, танцевали, прижавшись друг к другу, пьяные одноклассники, под

окном целовались двое. Ханна ушла, хотя походка ее казалась нерешительной.

— Плохо прошло? — спросила мать. Она еще не спала. Что было вполне обычным делом, когда я возвращался поздно. Она сидела на кухне и помешивала чай, подливая в него воду с несколькими каплями лимонного сока.

— Что именно?

— Не знаю, но вижу по тебе, что прошло плохо.

Мать осторожно положила ложечку рядом с чашкой, словно это был невероятно хрупкий предмет.

— В жизни бывает, что нужно пытаться снова и снова. Снова и снова. Несмотря на поражения. Тебе может казаться, что так случается только с тобой, но так у всех. Продолжать тоже кажется глупым. Но все равно приходится.

— О чем ты? — сухо спросил я.

— О чемпионате, — после недолгой паузы ответила она. — Все еще впереди. Не дай лишить себя воли к победе.

Она была еще совсем не старой, но ее волосы уже тронула седина. Мать была чуть полновата и часто улыбалась грустной, отсутствующей улыбкой. В тот момент — было уже за полночь — я, стоя на кухне, думал сразу о множестве вещей:

о том, что она, разумеется, права, о том, что не мог обсуждать с ней такие темы, о том, что в былые времена я мог бы просто никуда не стремиться, остаться и жить под ее крылом, не зная ни нужды, ни борьбы, и это никому не показалось бы странным. Клеймить за такое стали лишь с появлением психологов.

Я тоже взял чашку. Из соседней комнаты, где стоял проигрыватель, доносилась негромкая фортепианная музыка. Я налил себе чаю. Необходимо ли вообще отправляться туда, в большой мир? Нельзя ли, действительно, остаться жить здесь, в этом доме, на этой кухне?

Мать покачала головой, словно прочла мои мысли.

— Нельзя позволять себе сдаться, — повторила она. — Вот в чем суть.

— Почему?

Она промолчала. Я взял чашку и отправился спать.

Прошла еще пара месяцев, я был в квартире Сабины Вегнер. Мы остались наедине, ее семья куда-то ушла, а мы с ней собирались учить латынь. Сабина была толстухой. Нет, она была милой девушкой, добросердечной и неглупой, но у нее все было жирное: лицо, икры, тело, руки. А

я, тогда и не подозревая, во что превращусь сам, смотрел на нее насмешливо и свысока, как все остальные. Весь ее вид говорил о том, что она вне игры. Ее кандидатура даже не рассматривалась.

Мы сидели за обеденным столом и слово за словом переводили Тацита. Она пила мятный чай, я — яблочный сок. Наконец мы закончили, и я встал.

— Сейчас новости будут, — остановила меня она.

Мы сели на диван. Горбачев и Рейган пожимали друг другу руки. Хонеккер жалобно скулил в микрофон. Том Круз сидел за штурвалом самолета. На голубом экране ведущая сообщала, что ожидается дождь. И вот уже пошла реклама: домохозяйка, обращаясь к лучащемуся гордостью мужчине в галстуке и с дипломатом, потрясала носовым платком и говорила, что так чисто у них в доме еще не бывало. Я приобнял Сабину за плечи.

В первое мгновение я решил, что сделал это по ошибке. Что я такое творил, о чем думал?

Она сидела не шелохнувшись. Краем глаза я заметил, что она не повернула головы. Убери руку, подумал я, пока не поздно. Я наклонился к ней. В ушах у меня шумело, сердце колотилось.

Она же толстуха, мелькнуло у меня в голове.

Но все-таки девушка, подумал я следом.

Тут она повернулась. Взгляд ее был подернут странноватой поволокой. Расплывчатые очертания ее большого тела, сладковатый запах ее духов, моя рука на ее податливой шее.

Голова у меня шла кругом. Не такая уж она и толстуха, подумалось мне. Лицо ее, искаженное оттого, что я смотрел на него в упор, уродливым не казалось. Я видел, что у нее выпала ресничка, покоившаяся теперь на выступавшей скуле. Видел малюсенькую ссадину на ее виске. Видел, как по белку ее правого глаза бежит, ветвясь, красный сосудик, видел поры на коже.

Ее губы накрыли мои, словно ватные. Я неуверенно положил руку ей на бедро. Сабина отстранилась, взглянула мне в глаза, отерла губы тыльной стороной ладони и вновь прижалась ко мне. Мы поцеловались во второй раз, ее рот разомкнулся, и я почувствовал, как шевелится что-то крохотное, живое — ее язык. Ее грудь вздымалась и опускалась, мое сердце стучало, мне было нечем дышать, но этого и не требовалось. Спустя какое-то время она отвела голову назад. Я перевел дух. Она теребила пальцами мой ремень.

Я встал и позволил ей спустить с меня штаны. Она взялась за мои трусы и потянула, чтобы ли-

цезреть мою наготу. Из телевизора доносилась вступительная мелодия детективного сериала. Я бросил взгляд на ее прикрытые блузкой груди — они были округлыми, пышными, большими. Протянул руку, и она двинулась мне навстречу. Тут распахнулась дверь, вошел ее отец, за ним ее мать, за ней сестра, следом такса, следом — моя мать.

Воцарилось молчание. Не говоря ни слова, они наблюдали, как я натягиваю трусы и штаны, застегиваю ремень. Всхрапнув, собака растянулась на ковре и задрала лапы, ожидая, что кто-нибудь ее почешет. Одевался я дольше обыкновенного — руки дрожали. В ушах шумело пуще прежнего, пол словно уходил из-под ног. Такса издавала умоляющие вздохи, но тщетно. Усатый полицейский в телевизоре бормотал что-то об ордере на арест и криминальной полиции Дуйсбурга. Я пересек плывшую у меня перед глазами комнату, взял со стола учебник латыни, тетрадь, словарь, перьевую ручку и направился к двери. Родители Сабины отошли в сторону, пропуская меня. Сестра захихикала. Мать вышла первой.

Мы спустились по лестнице.

— Они ждали автобуса, — сказала она. — Я проезжала мимо и предложила их подбросить.

Заодно тебя забрать, — на несколько секунд повисла пауза. — Прости.

Она повернула ключ и открыла дверцу машины. Я уселся на пассажирское сиденье. Мать долго поправляла зеркало, потом завела мотор.

— Мне и в голову не могло прийти!.. — продолжила она. — Сам понимаешь почему. Потому что это Сабина. И в голову не могло прийти!.. Она же не то чтобы очень уж. То есть я и предположить не могла…

Я не отвечал.

— Когда мы с твоим отцом познакомились…

Я подождал. Она никогда о нем не говорила. Но либо до нее дошло, что момент был не самый подходящий, либо она просто раздумала — как бы то ни было, предложение осталось неоконченным. До самого дома она не произнесла ни слова.

Просто сдаться — что тут такого уж дурного? Эта мысль казалась мне грандиозной, манящей и взвешенной. Я занял второе место на чемпионате федеральной земли, получил допуск к чемпионату страны, но к тому времени мне стало ясно, что игра в кубик Рубика профессией стать не может. Вопреки всем моим чаяниям правительство не было заинтересовано в услугах специалистов такого рода, крупные компании

тоже, и даже создатели компьютерных программ и производители игрушек предпочитали брать на работу выпускников экономического или математического.

Я же хорошо чувствовал себя в полумраке, любил музыку Монтеверди, мне нравился запах ладана. Нравились окна старых церквей, переплетения теней под готическими сводами, нравились образы Христа Вседержителя, облаченного в золото Спасителя — властелина всего сущего, нравилась средневековая ксилография, нежность и человечность рафаэлевских мадонн. Меня впечатляла исповедь Августина, я находил поучительными дотошные искания святого Фомы, был всей душой расположен к роду человеческому как таковому — и не имел ни малейшего желания просиживать штаны в каком-нибудь офисе. К тому же я не питал особого пристрастия к самоудовлетворению. Некоторое время я занимался им регулярно, меня переполняли ярость и отвращение, я был убежден, что совершаю эстетическое непотребство, преступление скорее против красоты, нежели против морали. Я словно видел себя со стороны: раскрасневшегося юношу, уже немного пухловатого, который, зажмурив глазки, в спешке орудует рукой. Потому

я вскорости оставил эту привычку. С появлением психологов и в этом стало неприлично сознаваться, но забавляться с кубиком мне было гораздо приятнее.

Тогда мне казалось, что вопрос с верой в Бога я уж как-нибудь решу. Не так уж это должно быть трудно. Приложив усилия, и с этой проблемой можно совладать.

В глубине моей души жила надежда, что крещение как-нибудь да сдвинет дело с мертвой точки. Но когда момент настал, в церкви учинили ремонт: стен было почти не видно за металлическим каркасом лесов, алтарный образ затянули брезентом, орган, к сожалению, тоже не работал. Крестильная вода по ощущениям была просто водой, священник производил впечатление закоснелого сумасброда, а стоявший рядом с меланхолично улыбавшейся матерью Ивейн даже не скрывал, что изо всех сил старается не расхохотаться.

И все же я уповал на то, что вера придет. Столько разных умных людей верило в Бога. Нужно лишь больше читать, чаще ходить на службу, больше молиться. Практиковаться. Как только я поверю в Бога, все встанет на свои места, в моей жизни задним числом проявится воля судьбы, и

выяснится, что все с самого начала складывалось в общую картину.

Свой двадцать первый день рождения я отмечал с двумя сокурсниками, Кальмом и Финкенштейном, в прокуренной студенческой пивной.

— Августин — просто застарелый аристотелианец, — изрек Финкенштейн. — Он погряз в онтологии вещей — и поэтому отстал!

— Аристотеля нельзя назвать отсталым, — ответил ему Кальм. — Он — воплощение разума!

Такие беседы можно вести только в студенчестве. Финкенштейн носил очки с толстыми стеклами, был вечно румян и набожен, как ребенок. Добродушно-фанатичный Кальм был фомистом и хитроумным апологетом Святой Инквизиции. По выходным он участвовал в соревнованиях по гребле, увлекался миниатюрными железными дорогами — и у него была подружка, что делало его предметом тайной зависти соседей по скамье. На столе перед Кальмом лежала книга Артура Фридлянда «Я называюсь Никто». Я делал вид, будто не замечаю ее, а они ее не упоминали. В наличии этой книги, в общем-то, не было ничего необычного — в тот год ее можно было встретить повсюду.

— Теория времени Августина порядком отста-

ет от аристотелизма, — подал голос я. — Из его трудов очень любят цитировать то место, где он говорит, что знает, что такое время, пока не задумывается о нем. Звучит красиво, но в качестве инструмента познания никуда не годится.

— Тогда теория познания и не была еще парадигмой знаний, — парировал Кальм. — Ее место занимала онтология.

Выдохшись, мы умолкли. Я положил на стол причитавшиеся с меня деньги и встал.

— Что тебя гнетет, Фридлянд?

— Ход лет. Трата времени. Близость смерти и Ада. Тебе этого не понять, тебе всего лишь девятнадцать.

— Существует ли Ад? — задался вопросом Финкенштейн. — Что по этому поводу говорит онтология?

— Существовать-то он должен, — ответил Кальм. — Но в нем может никого и не быть.

— И что же творится в Аду? Скользит ли там, как у Данте, огонь от пят к ногтям, но так, что лишь поверхность пламенем задета?

— Данте пишет не об Аде, — произнес Кальм, — а о нашем истинном бытии. В Аду мы оказываемся в лучшем случае по ночам, в те моменты истины, которые называем кошмарами. Чем бы ни был

Ад, сон — это врата, сквозь которые он в нас проникает. С ним каждый знаком, ибо оказывается в нем каждую ночь. Вечная кара — это всего-навсего сон, от которого нельзя пробудиться.

— Ну, в таком случае, — вставил я, — пойду-ка я спать.

На улице уже поджидал трамвай. Я сел, и вагон тут же тронулся, словно меня-то ему и не хватало. Я сел.

— Извиняйте, — произнес кто-то тонким голоском. Передо мной возник скрюченный нищий с косматой бородой и двумя набитыми до отказа целлофановыми мешками. — Подадите?

— Простите, что?

— Денег, — произнес он. — Как вы сделали одному из братьев Моих меньших. Так сделали Мне. Сказал Господь.

Он протянул ко мне растрескавшуюся ладонь. Разумеется, я сунул руку в карман, но в тот же миг старик вдруг опустился на колени, а потом повалился на спину.

Растерявшись, я наклонился к нему. Улыбаясь, он медленно, как будто с наслаждением перекатывался с боку на бок, переваливаясь с левого плеча на правое и обратно. Я огляделся. С нами ехало всего несколько человек, и все они упорно

отводили глаза.

Но это был мой долг. Этого требовало христианское учение. Я встал и склонился над мужчиной.

— Я могу вам чем-то помочь?

Его пальцы сомкнулись на моей щиколотке. Хватка у него оказалась на удивление крепкая. Трамвай затормозил, двери распахнулись, две женщины второпях покинули вагон, и мы остались практически наедине. Он посмотрел на меня. Взгляд его был внимательным, пронзительным и ясным, совершенно незамутненным, даже любопытным. Из носа у него побежала капля крови, скрылась в седой нечесаной бороде. Двери закрылись, состав тронулся. Я попытался было высвободить ногу, но он меня не отпускал.

Никто из пассажиров не глядел в нашу сторону. Мы ехали во втором вагоне, до вагоновожатого было как до луны. Свободной рукой он потянулся ко мне и так вцепился в другую мою ногу, что я почувствовал, как его ногти вонзаются в мою плоть. Трамвай подъехал к остановке, вновь открылись двери, кто-то вышел, немного погодя створки дверей снова захлопнулись — наш путь продолжился. Из-под сиденья выкатилось надкушенное яблоко, свернуло с намеченной траектории и исчезло под другой скамьей. Вы-

рваться я не мог — мужчина оказался сильнее, чем можно было предположить. Он осклабился, вопросительно взглянул мне в глаза и опустил веки. Я дернул правой ногой, но освободиться не удалось. Дыхание старика участилось, борода тряслась. Он резко втянул воздух и плюнул. Я почувствовал, как по моей щеке стекает что-то мягкое и теплое. Нищий засопел.

И тогда я его ударил. Он попытался подняться, но я пнул его еще раз, и он рухнул на пол. Пальцы ног заныли. Я схватился за поручень, чтобы не потерять равновесия, и отвесил ему третий пинок. Он разжал одну руку; вторая по-прежнему цеплялась за меня. Опрокинулся пластиковый пакет, из него градом посыпалась скомканная бумага: обрывки газет, страницы из книг и глянцевых журналов, рекламные проспекты. Из другого мешка раздался скулеж, мне показалось, что в нем что-то шевелится. Трамвай остановился, двери открылись, я наступил ему на запястье. Старик застонал и наконец разжал левую руку. Я выскочил и бросился наутек.

Бежал я долго и остановился, лишь когда силы окончательно меня покинули. Задыхаясь, я посмотрел на часы. Десять минут первого. Мой день рождения был позади.

— Уверен, это был не он, — ответил Ивейн.

— Как знать.

— Да никакой это был не дьявол! Хотя, может, и неплохо было бы, если б ты наконец получил по заслугам. Вам вечно требуются какие-то доказательства, которые укрепили бы вашу веру. Но это был не дьявол.

Мы сидели в комнате, когда-то служившей отцу библиотекой. Вдоль стен тянулись корешки книг, снаружи доносился умиротворяющий стрекот газонокосилки.

— Вера не столь важна, — произнес я.

— Ах вот как.

— Священнику дана власть вязать и решить. Вне зависимости от того, что он сам при этом думает. Он не обязан верить в таинство, чтобы таинство свершилось.

— Так вот во что ты веришь?

— Мне и верить в это не надо, это так и есть.

Ивейн скоро отправится в Оксфорд. Всем было ясно, что его ждет большое будущее, и никто не сомневался, что не пройдет и десяти лет, как он станет знаменитым художником. В его присутствии я всегда чувствовал себя неуверенно, всегда ощущал его превосходство, но католическая вера внезапно дала мне положение в обществе, весо-

мое мнение и аргумент, которым можно было парировать все, что угодно.

Только Ивейн раскрыл рот, чтобы возразить, как распахнулась дверь и вошел еще один Ивейн. И несмотря на то что я был к этому готов, их сходство вновь оказало на меня свое магическое воздействие, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что на самом деле происходит.

— Могу я тебя попросить никогда больше не подсовывать мне эту книгу? — Эрик шваркнул об стол томом, заглавие которого гласило: «Я называюсь Никто». — Я не буду ее читать.

— Тем не менее она довольно интересна, — сказал Ивейн. — И мне хотелось бы знать, что ты…

— Меня не интересует. Как по мне, так он мог бы и сдохнуть. Какое мне дело до того, что он пишет?

— На самом деле он не это хотел сказать, — вставил Ивейн. — Просто иногда на него находит.

— Ну а ты? — повернулся он ко мне. — Ты что, всерьез? Все эти молитвы, церковь, семинария? Действительно, всерьез? Мы вообще-то евреи, разве так можно?

— Никакие мы не евреи, — возразил Ивейн.

— Но ведь наш дедушка…

— И все-таки, — перебил он. — Мы, к сожалению, никто. И ты это знаешь.

— Да Мартин в это полез только потому, что никак не может найти себе подружку.

Я сосредоточился на том, чтобы дышать как можно ровнее. И ни в коем случае не краснеть.

— Меня обескураживает плоскость твоего мышления, — продолжил Ивейн. — Мартин — человек серьезный. Понимаю, что для тебя это невообразимо, но он верует и жаждет служения. Тебе этого никогда не понять.

Эрик уставился на меня в упор.

— В самом деле? В Приснодеву, претворение воды в вино, в воскресение? Серьезно?

— Это процесс, — кашлянув, ответил я. — Человек верующий всегда находится в пути. И он никогда…

— Да тебе просто работать лень!

Я поднялся. Как ему всегда удается так быстро меня взбесить? Почему с тем, что он говорит, невозможно поспорить, но при этом он все так безбожно искажает?

— Когда устанешь молиться, приползешь ко мне на коленях, — не сдавался он, — и будешь умолять взять тебя на работу.

— И что же ты сделаешь, когда я приползу?

— Дам тебе работу, что же еще? Ты ведь мой брат!

Он расхохотался и, не попрощавшись, вышел.

— В последнее время он очень нервный, — проговорил Ивейн. — Мало спит. Не принимай его всерьез. — Он раскрыл ту самую книгу, с отсутствующим видом перевернул пару страниц и захлопнул. — Я как-то раз тоже решил, что повстречался с дьяволом. Мне было десять, дело было в торговом центре. В корзине с уцененными товарами копалась женщина. В ней не было ничего необычного, в том, что она делала, тоже, но я вдруг понял: стоит мне задержаться здесь хоть на пару секунд, и случится что-то ужасное. Мать нашла меня через час, я прятался за холодильником в отделе электроники. Она чуть с ума не сошла от страха. Но я по-прежнему убежден, что поступил правильно. Если бы она меня заметила… — Он задумчиво посмотрел в окно. Снаружи щелкал ножницами садовник. Поблескивал на солнце металл. — Но все это чепуха. Мне было десять лет. — Он взглянул на стол, затем посмотрел на меня так, словно на мгновение забыл о моем присутствии. — Ну а в остальном? Какие у тебя планы, намерения? Об этом ведь обычно думают в день рождения, правда? Какие даешь

себе зароки?

— Готовлюсь к участию в чемпионате.

— Снова взялся за кубик?

— Именно, за кубик.

— Желаю удачи. Но хорошо бы тебе…

— Что?

— Не важно.

— Говори уже!

— Верно, кто-то ведь должен тебе об этом сказать. Пока не поздно с этим бороться. Тебе бы…

— Ну?

— Да какая разница.

— Говори!

— Тебе бы похудеть, смиренный мой братец. Сейчас у тебя это еще может получиться, а дальше будет сложнее. Тебе и впрямь не помешало бы сбросить вес.

«Я называюсь Никто». Что это — шуточный эксперимент, бессмысленный продукт забавляющегося духа или же злостное нападение на душу всякого, кто возьмет в руки оный труд? Никто точно не знает. Возможно, и то и другое.

Повествование начинается со старомодной новеллы о молодом человеке, только-только вступившем на жизненный путь; нам известна лишь первая буква его имени — Ф. Слова сложены

ладно, рассказ набирает обороты, и книга читается вроде бы даже с удовольствием, если бы не преследующее вас чувство, что над вами насмехаются. Ф. ждут испытания, в которых он сможет проявить себя; он борется, приобретает знания, побеждает, умнеет, проигрывает, его личность развивается — все, как издавна повелось. Но возникает такое ощущение, что за каждой фразой что-то скрывается, словно сюжет прослеживает свое собственное развитие, слово на самом деле в центре событий оказывается вовсе не главный герой, а покорный, ведомый автором читатель.

Мало-помалу дают о себе знать небольшие несоответствия. Будучи дома, Ф., взглянув на пелену дождя, надевает шапку, куртку, берет зонт, выходит, принимается бродить по улицам, где дождь почему-то не льет, надевает шапку, куртку, берет зонт, выходит — как будто он этого уже не делал. Вскоре после этого возникает его дальний родственник, а ранее как бы между прочим говорилось, что тот уже лет десять как скончался; невинный поход деда с внуком на ярмарку оборачивается блужданием в кошмарном лабиринте; Ф. совершает оплошность, повлекшую за собой далеко идущие последствия, и вдруг ни с того ни с сего выясняется, что ничего такого не было.

Разумеется, читатель начинает строить догадки. Постепенно складывается впечатление, что начинаешь понимать, что происходит на самом деле, кажется, что разгадка уже близка, но тут повествование обрывается — да, вот просто так, посреди фразы, без всякого предупреждения.

И читатель вновь пытается сообразить, что к чему. Может, герой умер? Может, все эти странности были провозвестниками конца, первыми, так сказать, прорехами в канве повествования, являвшимися нам, прежде чем нить оборвалась окончательно? Казалось, автор спрашивает — что же такое смерть, как не пришедшийся на середину фразы финал, рубеж, которого тот, о ком в ней говорится, никогда не преодолеет? Что она, если не немой апокалипсис, в котором не человек исчезает из мира, а пропадает сам мир, наступает конец всему — и даже негде поставить точку?

Во второй части речь идет уже о другом. А именно, как убеждает нас автор, о том, что тебя — да-да, именно тебя, и это вовсе не фигура речи — так вот, о том, что тебя не существует. Ты думаешь, что читаешь эти строки? Ну да, разумеется, ты так думаешь. Однако их никто не читает.

Мир не таков, каким кажется. Цветов не существует — есть только волны различной длины.

Не существует и звуков — это всего лишь колебания воздуха, да и воздуха, впрочем, тоже не существует, есть лишь связанные друг с другом атомы, помещенные в пространство, причем атом — это тоже всего лишь название, означающее сгустки энергии, не имеющие ни формы, ни конкретного места в пространстве — и вообще, что такое энергия? Числовая константа, неизменная, дающая одну и ту же абстрактную сумму, не субстанция, а соотношение, стало быть, чистая математика. Чем пристальнее всматриваешься, тем очевиднее становится, что повсюду пусто, тем нереальней кажется даже сама пустота. Ведь пространство тоже — всего лишь функция, порожденная нашим духом модель.

Ну а дух, ее породивший? О, не забывай: в твоем мозгу никто не живет. Нет никакой незримой сущности, парящей над нервными окончаниями, глядящей сквозь твои глаза, слушающей там, внутри, твоими ушами и глаголющей твоими устами. Глаза — вовсе не распахнутые окна. Есть только нервные импульсы, но нет того, кто бы их считывал, считал, расшифровывал и думал бы над ними. Ищи сколько хочешь — вот только дома никого нет. Мир в тебе, а тебя-то и нет. Да и это твое «ты», даже если посмотреть на него изнут-

ри, — пристанище в лучшем случае временное, невольно состряпанное из того, что было: угол обзора всего-то в несколько миллиметров, по краям которого ничего, и в нем самом — слепые пятна, заполняемые привычкой и памятью, мало что хранящей и большую часть додумывающей. Твое так называемое сознание — не более чем вспышка, сон, который никому не снится.

Так продолжается с полсотни страниц, а то и больше, и вот победа уже близка, читатель практически убежден. Но только вновь закрадывается подозрение, что все это не более чем ироничная демонстрация… Чего? А тут уж подоспела последняя глава. Она кратка и безжалостна, и речь в ней, вне всякого сомнения, о самом Артуре.

Вновь возникает Ф., и на протяжении нескольких страниц его личность подвергается расчленению: он — одаренный, но начисто лишенный мужества, сомневающийся, эгоцентричный до подлости в отношении других, объятый отвращением к себе, быстро начинающий тяготиться любовью, не способный ни на чем остановиться, использующий творчество исключительно как предлог для того, чтобы ничем не заниматься, не желающий интересоваться другими, не умеющий брать на себя ответственность, слишком

трусливый, чтобы встретиться лицом к лицу со своими неудачами, слабый, бесчестный, никчемный человек, чей талант годен лишь на то, чтобы порождать бессмысленную игру воображения, плодить бессодержательную макулатуру, да еще тихой сапой линять, почуяв неловкую ситуацию, он наконец достиг того состояния, в котором, пресытившись самим собой, вынужден утверждать, что никакой самости не существует и любое «я» — лишь иллюзия и обман.

Но и с этой, третьей частью не все так просто, как может показаться. Действительно ли он так презирает самого себя? Ведь, согласно вышеизложенному, никакого «себя» вообще не существует и все это самокопание не имеет ровным счетом никакого смысла. Так какая же часть какую опровергает? Но на этот счет автор ничего определенного не говорит.

Ивейну, Эрику и мне пришло по экземпляру почтой. Они были доставлены в конвертах из коричневого крафта, без какого-либо посвящения, без имени отправителя. О книге нигде не писали и не говорили, ни в одном магазине она мне не встречалась, и лишь год спустя я впервые заметил ее, идя по улице. Я возвращался домой из университета, и увиденное на миг показалось

мне плодом фантазии. Но нет, сидевший на скамейке пожилой мужчина действительно держал в руках именно ее и, погрузившись в чтение, напряженно улыбался самому себе, по-видимому, охваченный сомнениями в своем существовании. Я наклонился и вгляделся в однотонную голубую обложку. Мужчина недовольно встрепенулся, и я поспешил удалиться. Две недели спустя она мне снова встретилась, на этот раз в метро, ее читал мужчина с кожаной сумкой в видавшей виды шляпе. Прежде чем она вновь встретилась мне на следующей неделе, о ней уже писали во всех газетах — к тому времени книга лишила жизни первого читателя.

Это был романтик со склонностью к метафизическим размышлениям, студент медицинского факультета из города Миндена, который по прочтении решился на довольно странный эксперимент, дабы удостовериться в своем существовании. В точности сути его так никто и не понял, но начался он с того, что тот собирался вести протокол своих переживаний с частотой в минуту, сопровождая его экспериментальными уколами булавкой, которую попеременно втыкал то в себя, то в несчастную морскую свинку, а закончился тщательно продуманным

и скрупулезно осуществленным прыжком с железнодорожного моста. Еще через неделю с мюнхенской телебашни бросилась девушка, сжимавшая в руках то же самое издание, что вызвало очередной шквал публикаций в прессе, следствием которой, в свою очередь, стало то, что в городе Фульда владелец фруктовой лавки и его жена покончили с собой, приняв яд. Между трупами была обнаружена книга.

На этом волна самоубийств вроде бы стихла, но вот статьи, мнения и комментарии еще какое-то время продолжали печатать, а вскоре один известный радиоведущий был по собственному желанию помещен в психиатрическую лечебницу после того, как заявил у себя в эфире, что уверен в своем субстанциальном несуществовании, и зачитал довольно длинный пассаж из «Я называюсь Никто». Это привело к тому, что соответствующая парламентская комиссия обсудила вопрос, не требует ли закон о составлении списков опасных книг, фильмов и видеоигр куда более жесткого применения. В ответ раздались саркастические реплики ряда депутатов, выступил со своим мнением епископ, породив очередной всплеск высказываний, посвященных в основном тому, кто же такой этот Артур Фридлянд и

почему это он отмалчивается, не выступает в защиту своей книги, не выступает на публике и даже не дает себя сфотографировать.

Когда тема была настолько исчерпана, что не осталось никого, кто не заскучал бы при одном упоминании романа, имя Артура и стало по-настоящему знаменито. Его следующая книга, «Час охотника», на первый взгляд представлявшая собой вполне традиционный детектив об обуреваемом глубокой меланхолией инспекторе полиции, который, несмотря на весь свой ум и отчаянные усилия, был не в состоянии расследовать безусловно простое дело, довольно долго держался на нижних строчках списка бестселлеров.

Вскоре после этого был опубликован роман «В дельте реки». В нем судьба героя то и дело меняет свой ход по мере того, как он принимает решения, или же в зависимости от того, улыбается ли ему фортуна, и каждый раз описываются оба варианта развития событий, оба возможных жизненных пути, имеющих одну и ту же отправную точку. Все чаще в дело вступает смерть, сложившуюся жизнь и ужасный конец порой разделяет лишь опрометчивый поступок или ничтожная случайность, все больше путей оканчиваются

болезнью, несчастным случаем, гибелью и все меньше ведут к достойной старости.

Книга эта странным образом меня тронула, и она до сих пор внушает мне ужас. Отчасти потому, что в ней было показано, как плохо просматриваются последствия всех принятых решений и совершенных поступков: в любую секунду все может рухнуть, и если думать об этом, то как же жить? Отчасти также потому, что я никак не могу избавиться от подозрения, что из всех произведений Артура именно это наиболее явно относится ко мне и к тому летнему вечеру в далеком прошлом, когда меня чуть не сбила машина, — сейчас от него осталось всего лишь далекое воспоминание, это просто случай из жизни, который в худшем случае может иногда отозваться эхом в тяжелом сне после плотного ужина.

Раздается скрип, кто-то втискивается внутрь и преклоняет колена. Я откладываю кубик. Только что мне потребовалось двадцать восемь секунд, чтобы собрать его. Мой личный рекорд — девятнадцать, но это было много лет назад.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, — с раздражением произношу я.

— Во веки веков, аминь, — раздается сиплый

мужской голос.

— Слушаю.

Он молчит, тяжело дышит, подбирая слова. Я снова смотрю на кубик, но увы, не получится: он может услышать скрежет проворачиваемых слоев, наверняка обратит внимание.

— Я согрешил против целомудрия. Занялся самоудовлетворением. Постоянно им занимаюсь!

Вздыхаю.

— Вот только что. Прямо на улице. Никто не видел. У меня есть жена и любовница. Они друг о друге знают, но не знают, что у меня есть еще одна любовница, она-то знает про них обеих. Но у меня есть еще и третья любовница, о которой не знает никто из них. Она тоже ни про кого не знает, думает, что я живу один.

Я протираю глаза. Стоит страшная жара, меня мучает усталость.

— Все пошло наперекосяк после того, как Клара высмеяла мою жену в фейсбуке. Не подумав, что Пиа у нее в друзьях и может это прочитать.

— Она ее подруга?

— Только в фейсбуке. Я им всем сказал, что баста, с этим покончено, теперь все будет иначе. Но это ведь так тяжело! Как вы вообще это выдерживаете? Никогда не иметь женщины! Меня уже

через два часа трясти начинает.

— Поговорим о вас.

— Еще я украл.

— Вот как.

— Чуть-чуть. Тысячу евро. Из корпоративной кассы.

— Кто вы по профессии?

— Налоговый консультант. Мы с любовницей работаем в одной фирме.

— Какой именно?

— Какой фирме?

— Нет, с какой именно любовницей?

— Да с Кларой. С той, о которой моя жена в курсе.

— Почему люди становятся налоговыми консультантами?

— Простите?

— Что сподвигает выбрать такую профессию? Никогда не мог этого понять.

Молчание. Но почему бы и мне не задавать вопросы? Где написано, что и я во время исповеди не могу узнать что-нибудь полезное?

— Я люблю разгадывать кроссворды, — в конце концов отвечает он. — Люблю, когда все аккуратно заполнено. Когда все правильно. Люблю и все тут. На тебя сваливается ворох квитанций, по-

началу стоит полный бардак, потом начинаешь заполнять бланки, одно поле, другое, тут крестик, там крестик, и в какой-то момент все сходится. В обычной жизни ничего никогда не сходится. Вам нужен налоговый консультант?

— Нет-нет, спасибо.

— Это были не клиентские деньги, не думайте. Они были из общей кассы на канцелярские расходы. Один мой друг торгует мебелью, вот я ему и говорю: собираюсь купить новые офисные кресла, только не мог бы ты мне выставить немного завышенный счет, ну, тысячи так на три, а потом…

— Вы же только что сказали тысячу!

— …Потом он привез мне кресла, я заплатил, а разницу мы поделили пополам. Но вот только он, к сожалению, захотел списать ту сумму, которую получил я, как налоговый вычет на непредвиденные расходы, но поскольку он был нашим клиентом, мне пришлось ему сказать, что так дело не пойдет. Я попытался было провернуть пару бухгалтерских фокусов…

— Вернемся к вашим женщинам.

— Это ужасно, господин священник! Они мне постоянно звонят!

— Кто?

— Все, кроме жены. Она не звонит никогда. Да и с чего бы ей? И я каждый день навещаю кого-то из них, у меня все хорошо спланировано, но если визит вдруг откладывается, мне приходится… Ну, вот как только что! Как вы только держитесь, а, господин священник? Однажды я сумел продержаться неделю. Остался дома, играл с детьми, помогал жене готовить. По вечерам мы смотрели на ютьюбе смешные видео про животных. Их так много. Тысячи! Тысячи видео с тысячами забавных зверей.

— Что же они делают?

— Жрут, катаются по полу, звуки издают всякие. На третий день я подумал, что вроде все не так уж плохо. А на пятый мне уже казалось, что я руки на себя наложу. Тогда я пошел к ней.

— К кому именно?

— Уже не помню, а что, это так важно?

— Нет.

— Так что же мне делать?

— Вот что вы описали, то и делать. Оставайтесь дома. Помогайте жене готовить. Смотрите видео про животных.

— Но ведь это ужасно.

— Конечно, ужасно. Такова жизнь.

— Почему вы мне такое говорите?

— Потому что я вовсе не ваш психотерапевт. Я вам даже не друг. Взгляните правде в глаза. Вы никогда не будете счастливы. Но ничего страшного в этом нет. Можно жить и без счастья, — выждав минутку, я осеняю его крестным знамением. — Отпускаю тебе грехи во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Храните верность жене, пока есть силы. Хотя бы две недели попытайтесь. Две недели — ничего невозможного тут нет. И верните деньги, в том и будет ваше покаяние.

— Как же вы прикажете их провести?

— Найдите способ.

— Легко сказать! Как вы себе это представляете? Я не могу вот так просто взять и перечислить на счет фирмы двенадцать тысяч!

— Двенадцать?!

— Лучше я три недели дома просижу. Три, договорились?

— Верните деньги в кассу!

Молчание.

— Но вы же отпустили мне грехи, верно? То есть вне зависимости от того, верну я деньги или нет? Это же не является… обязательным условием?

— Таинство свершилось. Но если вы не вернете деньги, то возьмете на себя новый грех.

— Тогда я лучше еще раз приду.

— Нет, так исповедь не работает!

— Конечно, я мог бы провести их как компенсацию. Но что я скажу, если придет проверка? Нет, ну никак я не могу их перечислить!

Он ждет ответа, но тут уж молчу я.

— До свиданья, господин священник.

Снова раздается скрип, затем звук удаляющихся шагов. Хотел бы я взглянуть ему в лицо, но тайна исповеди это запрещает, а правил я держусь. У протестантов — свой Бог, который жаждет знать, что творится у них в душе, но я католик, и моего бога интересуют только мои деяния. Я беру в руки кубик, но, как только я начинаю раздумывать, пойти мне по классическому пути или все-таки начать с блоковой сборки, вновь скрипит скамья.

— Я пью, отче.

Откладываю кубик.

— Все время пью. Никак не могу бросить.

Завидую алкоголикам. О них снимают фильмы, нанимают лучших актеров, пишут романы и репортажи. А как же те, кто много ест? Худые твердят, что этот вопрос решается силой воли, но, может, они худые просто потому, что у них не такой аппетит. Немногим ранее я купил в автомате на углу два шоколадных батончика. Не

для того, чтобы съесть, а чтобы были. Какая же глупая была мысль.

— Мне больше ничего не хочется. Только пить. Жена меня бросила, работу я потерял, но мне все равно. Хочу напиться, больше ничего.

— Я могу отпустить вам грехи, только если у вас есть искреннее желание изменить свою жизнь.

Вибрирует телефон. Выудив его из кармана, я вижу на дисплее рабочий номер Эрика. Что очень странно, Эрик никогда мне не звонит. Но ответить я сейчас не могу.

— Не знаю. Не знаю. Не знаю.

— Не знаете, хотите ли вы бросить пить?

— Мне бы очень хотелось, чтобы мне больше не хотелось, но хочется же.

Разумно ли проводить такое различие или это попросту абсурд? Телефон умолкает.

— Вы там что, едите, господин священник?

— Не ем! Попробуйте не пить два дня. Будет хорошее начало. И приходите снова!

— Два дня? Нет, я не смогу.

— Тогда и я не смогу отпустить вам грехи.

Первый укус был просто наслаждением. Хруст шоколадной глазури, едва уловимое пощипывание мякоти кокоса на языке. Теперь уже чувствуется, что в батончике много жира и многовато

сахара. И так со всем. Иисус этот факт упустил, Будда оказался внимательней. Никогда ничего не удается довести до конца. Ничто не совершенно, но вырваться из этого круга выше наших сил.

— Вы едите!

— Приходите через два дня.

— Прекратите есть!

— Я и не ем.

— Прямо в исповедальне!

— Через два дня. Если не будете пить. Тогда приходите!

Скрипит скамья. Он уходит. Комкая в руке пустую металлизированную обертку, я думаю о втором батончике. Он по-прежнему у меня в кармане, там он и останется.

Вынимаю батончик из кармана.

Но я ведь его еще не развернул. А если бы и развернул, то еще не кусал. Все в моей власти. Таинство свободы воли: могу укусить, а могу и удержаться. Все зависит от меня. Все, что мне нужно сделать, чтобы этого не произошло, — просто этого не делать.

Второй батончик уже просто невкусный. Жую яростно и торопливо. Второй всегда невкусный. Вибрирует телефон. Снова Эрик звонит с работы. Должно быть, что-то важное.

— Завидую тебе, — сказал Ивейн.

— Да нет, ты преувеличиваешь.

Мы сидели на скамье в клуатре монастыря Айзенбрунн. Деревья качались на холодном ветру, пели птицы, с кухни доносился запах еды, то и дело, склонив голову, проходил мимо облаченный в рясу монах. Можно было подумать, что мы перенеслись в другой век.

Я был рад видеть Ивейна. За две недели усердных духовных упражнений мне поднадоели постные лица. Брат заявился без предупреждения, как ему было свойственно. Привратник хотел было отослать его прочь, но потом все-таки впустил. Ивейну трудно было отказать.

— Даже кубик у тебя отняли?

— Это часть упражнений, — ответил я. Поначалу мне его не хватало, но теперь я задавался вопросом, не было ли то, что я считал всего лишь своим любимым занятием, на самом деле зависимостью.

— Так ты был у Линдемана? — спросил я.

— Совершенно бесплодный визит. Неинтересный он человек.

— Но он вспомнил? Смог он тебе объяснить…

— Я же говорю, неинтересный человек.

— Но…

— Мартин, да не о чем тут говорить! Хотел бы я быть как ты. Ты знаешь, чего хочешь. А я и художником быть не могу.

— Глупости.

— Это не ложная скромность и не творческий кризис. Я осознал, что не способен к этому ремеслу.

По колоннаде прошествовали трое закутавшихся в свои одеяния монахов. Тот, что слева, был пьяницей, тот, что посередке, по вечерам часами смотрел трансляции спортивных соревнований на стареньком черно-белом телевизоре, а тот, что справа, недавно получил взыскание из-за обнаружившейся у него коллекции порнографических видеоматериалов. Но Ивейну, который всего этого не знал, они, должно быть, казались просветленными.

— При необходимости я могу сделаться преподавателем. Или куратором. Но если я продолжу писать… Стану обычной посредственностью. В лучшем случае. В лучшем.

— Так ли это плохо? Большинство людей — посредственность. По определению.

— Именно. Но вспомни Веласкеса — как он использует белизну холста, словно краску. Вспомни Рубенса — как он передает телесные цвета. Или

Поллока, его силу, его мужество писать, как сумасшедший. Я так не могу. Я могу быть только собой. А этого недостаточно.

— В общем, ты, конечно, прав, — задумчиво произнес я. — Как жить с тем, что ты не Рубенс? Как найти себе место? Поначалу, за что бы человек ни брался, ему кажется, что он исключителен. Но исключения встречаются крайне редко.

— По определению.

— Не поискать ли тебе тему для диссертации?

— Неплохая идея. — Он провел по гравию черту кончиком ботинка, поднял глаза и улыбнулся. — Очень даже неплохая! Мы с тобой слишком редко общаемся. Ты уже посвящен в малый чин?

— Это долгий процесс.

— Когда я говорю, что завидую тебе, то это и имею в виду, серьезно. Покинуть мир. Выйти из замкнутого круга. Больше во всем этом не участвовать.

— О да, было бы славно. — Сквозь ветви высоких деревьев пробивались лучи солнца, на гравии дорожки плясали зайчики. — Но ведь все равно участвуешь. Просто немного иначе. Нет пути, который вывел бы из этого круга.

— Помолись за меня. — Ивейн поднялся. — Завтра лечу в Англию, может, увидимся на

Рождество. Помолись за меня, брат Мартин. Я из тех, кому это нужно.

Я глядел ему вслед. Монастырские врата с жужжанием отворились. Все здесь сохраняло средневековый вид, но повсюду уже бежало электричество, прятались камеры, и все чаще можно было видеть братьев, разговаривающих по крошечным телефончикам. Здесь, как и везде в мире, все набирало некий необратимый ход. Я неторопливо встал. Скоро колокольный звон созовет на вечернюю молитву.

Первые пару дней мне казалось, что я умру со скуки. Но постепенно стало легче, и я научился простаивать на коленях часами, прислушиваясь к переливам грегорианских напевов под сводами церкви. Голод уже не терзал меня непрестанно, я мог забыть о боли в суставах, возвести очи к высоким окнам и мнить, что пребываю там, куда и должны были привести меня призвание и судьба.

Вот только присутствия Бога я не чувствовал.

Я ждал, молился, молился и ждал. Но по-прежнему не ощущал его.

С другими семинаристами я поладил. Одного из них звали Артур, как моего отца, он умел показывать карточные фокусы, причем такие,

каких я дотоле не видывал. Другого звали Павел, и ему как-то раз явилась Дева Мария. Он говорил, что на ней были плащ и странной формы шляпа, но не было никаких сомнений, что то истинно была Пресвятая Дева. Третьим был Лотар, который каждую ночь так громко плакал, что мы еле могли уснуть. Ну и мой старый друг Кальм тоже был с нами, по-прежнему окруженный мягким ореолом своей набожности.

— Хотел бы я быть как ты, — сказал за ужином Кальм. На ужин было картофельное пюре с рыбой. Рыба была разваренной, пюре — безвкусным, но я все равно не отказался бы от добавки.

— Глупости.

— Ты сможешь помогать людям. Ты далеко пойдешь. Тебя ждет Рим. И кто знает, как высоко тебе суждено там подняться.

После ужина мы вновь собрались в капелле и преклонили колени. Монахи пели, их голоса сливались в единый, мощный глас, свечи наполняли пространство пляшущими тенями.

— Я требую, — произнес я. — Я это заслужил. Дай мне знак.

Но ничего не произошло.

Я поднялся с колен. На меня обратились недоуменные взоры, но никто не стал вмешиваться. В

конце концов, это были молитвенные упражнения: у кого-то случались видения, кто-то слышал голоса, в этом не было ничего неожиданного, это было частью процесса.

— Прямо сейчас, — продолжал я. — Момент настал. Говори же со мной, как говорил с Моисеем в пламени огня из среды тернового куста, как говорил с Савлом на пути в Дамаск, с Даниилом пред лицом царя Вавилонского, с Иисусом Навином, когда стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день, с апостолами Христа воскресшего, посылая их проповедовать, что Он восстал из мертвых. Мир с тех пор не постарел и на день, по небу кружит то же солнце, и, как они представали пред тобой, так предстаю я и прошу: скажи хоть слово.

Но ничего не произошло.

— Ведь не моя это вина, отнюдь нет, — довершил я. — Я ведь стараюсь. Я возвожу очи горе, но тебя там нет. Оглядываюсь вокруг, но нет тебя и тут. Я не вижу тебя, не слышу тебя. Всего один крохотный знак. Другим его видеть не обязательно. Я не подниму шума, никто не узнает. Или, еще лучше, не давай мне знака, просто всели в меня веру. Этого будет довольно. Кому нужны знаки? Дай мне веру в тебя, и все свершится, хоть ничего

и не произойдет.

Я ждал, глядя в пляшущее пламя свечей. Свершилось ли? Может быть, я уже обрел веру, сам того не зная. Нужно ли знать, что веришь? Я прислушался к себе.

Но ничего не изменилось. Я стоял перед алтарем под каменными сводами сооружения, стоящего на маленькой планете, одной из сотен квинтиллионов планет. В черном Ничто кружили невыносимой протяженности галактики, пронизанные излучением, Вселенная постепенно растворялась в холоде. Я вновь опустился на колени, на плоскую, приветливую молитвенную подушечку и сложил руки.

На следующее утро меня вызвали к настоятелю. Мудрый и дородный отец Фрейденталь устрашающе высился над письменным столом, облаченный в пурпурный муцет августинца-каноника. Он повел рукой, приглашая меня сесть, и, обеспокоенный, я повиновался.

То, что случилось вчера во время вечернего бдения, мягко произнес он, обращаясь ко мне, не прошло незамеченным.

— Мне очень жаль.

Такие молодые люди, продолжал аббат, нынче редкость. Какое рвение! Какая серьезность!

Я почувствовал, как мои губы тронула смущенная улыбка. Вот же лицемер, озадаченно подумал я. Никогда не намеревался, никогда не планировал, но, по всей видимости, оказался лицемером!

Порой приходит мысль, лилась речь отца Фрейденталя, что таких юношей нынче и не встретишь. Но ведь они по-прежнему есть! И это чрезвычайно тронуло его сердце.

Я склонил голову.

— Сделай одолжение, — он открыл ящик стола и извлек книгу «Я называюсь Никто». — В нашей монастырской библиотеке есть коллекция книг с автографами. Не мог бы ты попросить своего отца надписать?

Колеблясь, я принял книгу. Артур никогда не давал автографов, никто даже не знал, как его подпись выглядит.

— Это вовсе не трудно, — медленно сказал я. — Уверен, он охотно подпишет.

Я жду вот уже три четверти часа. Понятия не имею, зачем я здесь, но коли кондиционер работает, пусть будет так. Жара давит на стекла, воздух снаружи пропитан солнечным светом. Я невольно задаюсь вопросом, выдержат ли окна такой напор. Делаю небольшой глоток кофе из бумажного стаканчика. Передо мной стоит

пустая стеклянная миска, печенье я давно съел. Подложить добавки никто не спешит.

Из-за стены доносятся звуки офисной жизни: голоса, дребезжание телефонов, жужжание принтеров и ксероксов. За одним из столов сидит секретарша в ну очень короткой юбке. Ноги ее мне даже не нужно силиться вообразить: они загорелые и мускулистые, кожа гладкая и упругая. Когда она обращает на меня свой взор, то смотрит так, как смотрела бы на стол, холодильник или груду картонных коробок. Я рад, что на мне сутана. Будь я в мирском, это было бы невыносимо.

Сосредотачиваюсь на кубике Рубика. Мне нужно больше упражняться в применении метода Петруса. Конкуренция высока, молодые люди проворны, а традиционный способ сборки — слишком медленный для чемпионата мира. Сейчас на многих соревнованиях кубики смазывают вазелином, чтобы легче вращались. Когда я только начинал, а кубик у меня был новый, то всегда брался сперва за одну сторону: собрав ее, надо было переходить к остальным, в результате чего опять все перемешивалось, а потом уже восстанавливать первую. Но сегодня так уже не делается. Теперь работают одновременно с двумя плоскостями, собрав которые, выстраи-

вают оставшиеся стороны, ничего не нарушая. Получается быстрее, но требуется адская сосредоточенность, никаких механических движений, само уже ничего не складывается. Первый блок необходимо нащупать интуитивно, и если этого не сделать очень быстро, то потеряешь драгоценные секунды, которых потом не наверстать.

Чья-то рука касается моего плеча. Это другая секретарша, постарше.

— Ваш брат освободился.

Офис Эрика выглядит так, как я себе и представлял: прибранный письменный стол, громадное окно с шикарным видом на крыши окрестных домов, телевизионные антенны и вышки — все только для того, чтобы произвести впечатление. Брат сидит не шелохнувшись, смотрит на огромный монитор и делает вид, что меня не замечает.

— Эрик?

В ответ молчание. Он кликает мышкой, медленно подносит ко рту стакан с водой, делает глоток, тихо вздыхает и ставит стакан на поверхность стола.

Сколько можно? Я пододвигаю к себе обитое кожей кресло, опускаюсь в него, и меня пленяет мягкость сиденья.

Эрик оборачивается, смотрит на меня и ничего не говорит.

— Ну? — говорю я.

Он молчит.

— Что стряслось? — продолжаю я.

— Могу я тебе чем-нибудь помочь?

Я тру глаза. Стоит нам встретиться, не важно, при каких обстоятельствах, без разницы, где и когда — он всегда найдет способ меня взбесить.

— Ты же мне звонил!

— Знаю, — он смеряет меня взглядом, не меняя выражения лица. — Мы говорили по телефону.

— И вовсе мы не говорили! Мне звонила твоя секретарша. Сказала, что я должен явиться во что бы то ни стало.

— Знаю.

— Так что стряслось?

Он берет со стола какой-то листок, смотрит на него, ухмыляется, берет другой, снова делается серьезным, откладывает их, хватает телефон и принимается его разглядывать.

— Как твои дела?

— Хорошо. Через полгода региональный чемпионат. Выиграть я вряд ли выиграю, но поучаствовать все-таки могу.

Он смотрит на меня в недоумении.

— Кубик.

Смотрит на меня в недоумении.

— Рубика!

— Неужели он еще существует?

Я предпочитаю не поддаваться на провокацию.

— Ну а как твои дела?

— На рынке недвижимости Восточной Европы наблюдается весьма интересное развитие, параллельно с этим наш хедж-фонд инвестирует в альтернативные источники энергии. Ты не голоден?

Терзаемый сомнениями, я вспоминаю завтрак, два съеденных в исповедальне шоколадных батончика, перехваченную по дороге сосиску, сухое печенье в приемной.

— Голоден.

— Тогда пошли! — он вскакивает и выходит, не дожидаясь меня.

Я собираюсь встать с кресла, но подлокотники опускаются, и я оседаю. Вторая, великовозрастная секретарша наблюдает за мной сквозь дверной проем. Встать мне удается лишь с третьей попытки; я улыбаюсь ей, словно делал это нарочно, словно я мастер клоунады, король комедии, и направляюсь по коридору к лифту, где меня уже

ждет брат.

— Ну наконец-то! — восклицает он.

В лифте нас встречают двое мужчин в галстуках. Настенные зеркала множат наши отражения, создавая эффект толпы.

— Интересно, есть ли какие-то статистические исследования на эту тему? — спрашивает меня Эрик. — Насчет гороскопов и реальных человеческих судеб? Развиваются ли события так, как предсказывают астрологи? Должны же быть какие-то данные, которые помогли бы это выяснить. Ты ничего об этом не знаешь?

— С чего бы мне об этом знать?

— Но вы же составляете гороскопы!

— Нет!

— Нет?

— Гороскопы — это просто чушь!

— Так вы не составляете гороскопов?

— Шутишь, что ли?

Он извлекает телефон, что-то кому-то пишет и засовывает его обратно в карман. Лифт останавливается, мы выходим; я едва поспеваю за ним. Мы пересекаем лобби. Стеклянные двери распахиваются, мне бьет в лицо духота. Он переходит улицу, прямо так, как шел, не посмотрев ни налево, ни направо. Гудит автомобиль, но он

никак не реагирует. К счастью, ресторан прямо через дорогу. При такой температуре большего расстояния я бы не осилил.

Обстановка весьма изящная: льняные салфетки на столах, люстры в форме стеклянных капель, официанты в черных рубашках и, слава Всевышнему, кондиционер. Эрик направляется к маленькому столику, зажатому среди других таких же; за ними вдоль стены тянется кожаная скамья. Не самый лучший выбор, но как ему это объяснить? Официант уже отодвигает столик, Эрик отступает, и мне ничего не остается, кроме как сесть на скамью, втиснувшись между двумя мужчинами в костюмах. Те неодобрительно смотрят на меня; презрение к моему плотскому изобилию слегка смягчается уважением к моему духовному сану. Работник ресторана придвигает столик на место, Эрик, усаживаясь напротив меня, бросает: «Как обычно». Официант поспешно удаляется; возразить я не успеваю. Да как он может выбирать за меня?

Эрик снова смотрит на дисплей, что-то пишет, откладывает телефон и устремляет взгляд на стену поверх моей головы. Потом снова берется за аппарат.

— Как дела в экономической отрасли? — спра-

шиваю я.

— В смысле? — стуча пальцем, он даже не поднимает глаз.

— Как дела в экономической отрасли? — повторяю я. — Можешь дать какой-нибудь прогноз?

— Прогноз? — он продолжает стучать. — Нет.

Как обычно, со всех сторон на меня украдкой поглядывают. Я к этому привык. Если бы я встретился им во главе процессии, то они бы ничего такого не подумали; увидели бы на экране, как я рассуждаю о вопросах нравственности, тоже не сочли бы это необычным. Но вот то, что я просто так сижу в ресторане, передо мной стоит стакан воды, и я беседую с бизнесменом, уставившимся в свой сотовый, — это в их глазах выглядит странно. Многим из них придает уверенности один тот факт, что такие, как я, еще существуют — что мы по-прежнему ходим по земле, служим службы, молимся и делаем вид, будто у человека есть душа, а в мире — надежда. Даже во мне рождаются такие же чувства, когда я вижу незнакомых священнослужителей. К сожалению, на мое отражение в зеркале это не распространяется.

Официант возвращается с едой. Порции еще меньше, чем я опасался. Крошечная кучка облепленных макаронами раковин посреди пустой

тарелки.

Брат откладывает сотовый.

— Если ты посылаешь кому-то сообщение, он тебе отвечает, ты отвечаешь ему и просишь ответить поскорее, а ответа все нет и нет, то ты будешь исходить из того, что твое сообщение не дошло — или из того, что она просто не хочет тебе отвечать?

— Так он или она?

— Что?

— Ты сначала сказал «он», а потом «она».

— И что?

— Ничего.

— Какое это имеет отношение к моему вопросу?

— Никакого, но…

— Что ты хочешь у меня вызнать?

— Да ничего!

— Не имеет никакого значения, о чем было сообщение. Это не важно.

— Об этом я вообще не спрашивал.

— Возможно, это отпечаток твоей профессии. Может, поэтому ты такой любопытный.

— Но я вовсе не любопытствую!

Он глядит на свой телефон, снова что-то печатает и перестает обращать на меня внимание.

Я этому только рад, поскольку поданное блюдо оказалось столь сложным в обращении, что требует полной сосредоточенности. Нет ни крупицы здравого смысла в том, что нельзя резать макароны. Но это заповедь, по силе сравнимая с религиозными. Разрезать макаронину было бы ошибкой неописуемого масштаба. А почему — никто не знает. А что же моллюски? Приходится вскрывать каждую отдельную раковину, чтобы выудить микроскопический, абсолютно безвкусный кусочек мяса. Пальцами получается плохо, вилкой — еще хуже.

— Вы еще практикуете экзорцизм?

— Практикуем ли мы…

— Изгнание дьявола. Вы этим все еще занимаетесь? Хватает вам людей?

— Понятия не имею. Но, наверное, да.

Он кивает так, словно мой ответ подтвердил какое-то его предположение.

К своей порции он еще не притронулся. Я вскрываю последнюю раковину, соус стекает по рукаву. Перехожу к пасте, но не так-то это просто, когда тарелка усыпана раскрытыми раковинами. Пальцы пахнут рыбой. Мой сосед по скамье, отчаянно жестикулируя, то и дело пихает меня локтем в бок. Напротив него сидит мужчина в

очках и с лысиной; они беседуют о рейтинге платежеспособности какого-то пенсионного фонда.

— Что там говорит классическое учение? — спрашивает он. — Нужно ли впускать дьявола, если он пришел? Нужно ли ему специальное приглашение или он просто может подчинить себе, кого пожелает?

— Зачем тебе это знать?

— Книга, просто книга. Прочел я тут одну книгу. Довольно странную. Ну, не важно. — Он берет свой стакан, рассматривает его, делает небольшой глоток и отставляет.

— Итак, что ты хотел со мной обсудить?

Нахмурившись, он опять глядит на телефон. Я жду. Он ничего не говорит.

Постепенно меня это начинает напрягать. Я достаю свой сотовый, набираю: «Как дела? Позвони, как будет время! Мартин» и отправляю сообщение Эрику.

Он только-только отложил телефон. Тот вибрирует, брат хватает его, смотрит на экран, поднимает бровь. Я жду, но он не произносит ни слова. Не улыбается. Откладывает телефон в сторону, трет виски, опять берет его, снова откладывает, говорит:

— Какая жара!

Признаю, шутка не самая смешная, но легкая улыбка все-таки была бы уместна. Почему ему так трудно дается вежливость?

— Как поживает Лаура? — спрашиваю я. Его жену я почти не знаю его. Актриса, как и следовало ожидать. Очень красивая. Как и следовало ожидать. — И Мари?

— В школе все в порядке. Иногда она меня беспокоит.

— Чем же?

— Иногда она меня беспокоит. Но в школе все в порядке.

— Как твоя мать?

— У нее теперь эта телепередача. Звонят люди, рассказывают, что у них болит, она им что-то отвечает.

— Мне казалось, она офтальмолог.

— Был конкурс, участвовало около трехсот врачей, она победила, Рейтинг неплохой. А твоя?

— Слава Богу, здорова. На пенсии ей нравится, читает книги, которые давно мечтала прочесть.

— Ты по-прежнему живешь с ней?

По его лицу видно, о чем он сейчас думает. Но почему я должен это скрывать? Часы, проведенные мной у мамы, полны умиротворения и света, это лучшие минуты дня. Мы угощаемся

пирогом, сидим друг напротив друга, почти не разговариваем, ждем, когда наступит вечер. Что в этом дурного?

— Живу я в доме причта. Но часто бываю у нее.

— Каждый день?

— Ты будешь есть свои макароны?

Он взглянул на нетронутую тарелку так, словно раньше ее не видел. Но прежде чем он ответил, к нему сзади подошел какой-то мужчина, осклабился и хлопнул его по плечу:

— Фридлянд!

— Ремлинг! — Эрик вскакивает и делает вид, будто собирается врезать ему по животу, тот хватает его за предплечье и держит; оба изображают улыбку.

— Что, сюда теперь пускают всяких там?..

— Да вот как видишь!

— Как дела, все путем?

— Естественно! У тебя?

— А как же!

— Недавний матч — какой позор!

— С ума сойти!

— Я думал, пулю в лоб пущу! Кстати, это мой брат.

Ремлинг смотрит на меня, на его лице мелькает изумление, что вполне типично для людей,

перед которыми вдруг оказался священник. Он протягивает мне руку, которую я пожимаю.

Оба уставились куда-то в пустоту. По всей видимости, им больше ничего в голову не приходит.

— Ладно, — говорит Ремлинг. — Ну давай тогда?

— Ага, — отзывается Эрик.

— Надо бы нам как-нибудь. С тобой вдвоем…

— Непременно!

Ремлинг кивает мне и возвращается к своему столику у окна.

— Ненавижу его. Завалил мне в прошлом году сделку с Остерманом. — Эрик усаживается и принимается стучать в телефон. За спиной у него возникает официант, перегибается через его плечо и стремительно уносит тарелки, мою опустошенную и его нетронутую; остановить его я не успеваю.

— Ну что ж, — брат убирает мобильник, отодвигает стул и встает. — Рад был повидаться. Мне пора бежать, важная встреча, ты и представить себе не можешь, какие нынче дела творятся. Обед, разумеется, за мой счет.

— Но о чем же ты хотел поговорить?

Но Эрик уже на полпути к выходу. Не оборачиваясь, он распахивает дверь и исчезает.

Заказать что-нибудь еще? Хотя здесь дорого, порции маленькие, а на углу есть сосисочная.

Посижу еще пару минут. Придется просить официанта отодвинуть столик, потом сидящий рядом со мной мужчина вынужден будет привстать, его столик тоже придется подвинуть, а значит, вставать нужно будет и его визави — короче, прежде чем я выберусь, полресторана будет на ногах.

Я выбился из графика. В два мама ждет меня на чай с пирогом, потом мне надо на собрание Союза католической молодежи, а вечером опять служить мессу. Чего же все-таки он от меня хотел?

Я неспешно допиваю свой стакан и благосклонно улыбаюсь всем вокруг. Будьте благословенны, хотите вы того или нет; такова моя функция. День за днем свидетельствовать о том, что порядок вещей не нарушен, что в посылах мироздания есть какой-то смысл. То, что есть, должно быть. То, что должно быть, есть. Я — адвокат сущего, защитник статус-кво, каким бы этот статус ни был. Это моя профессия.

Да и мир не так уж плох, честное слово. В нем, благодарение Богу, которого на самом деле нет, есть рестораны и кондиционеры. Все-таки закажу десерт. И уже подзываю официанта.

Я сидел в семинарии, в библиотеке, спрятав

кубик под томом «Стадий на жизненном пути», когда вдруг вошел Кальм и сказал, что мне звонит отец.

Чтобы добраться до общего телефона, надо было спуститься по лестнице, пройти по длинному коридору, взобраться по другой лестнице. Все время, пока я шел, я боялся, что Артур положит трубку. Тяжело дыша, я подбежал к телефону; трубка болталась на шнуре.

— У тебя есть время?

Это и вправду был его голос. Я никак не мог вспомнить его, как ни пытался, а тут узнал, словно не прошло и дня.

— Время для чего?

— Я тут поблизости. Я не вовремя?

— Ты имеешь в виду — прямо сейчас?

— Я здесь.

— Где?

— Выходи.

— Сейчас?!

— Так я все-таки не вовремя?

— Нет-нет… Ты здесь?

— Вот именно. Стою перед домом.

— Перед этим самым домом?

Артур рассмеялся и положил трубку.

Прошел год с тех пор, как в его последнем сбор-

нике был опубликован самый странный из всех написанных им рассказов. Назывался он «Семья», речь в нем шла о его отце, деде, прадеде — это была история наших предков, из поколения в поколение, восходящая к туманному Средневековью. Большая часть ее — чистый вымысел, поскольку прошлого, как замечает сам Артур в предисловии, нам знать не дано: «Люди верят, будто где-то хранятся их мертвецы. Верят, что во Вселенную вписаны следы их бытия. Но это неправда. Что прошло, то прошло. Что было, то будет забыто, а что забыто, того не вернуть. Я не помню своего отца». Как ни странно, я почувствовал, будто меня обокрали. Ведь это были и мои предки.

Я вышел на улицу. Там стоял он. Волосы его были взлохмачены, как и прежде, руки спрятаны в карманы, на носу все те же очки. Увидев меня, он развел руками; на миг мне почудилось, что он собирается меня обнять, но то был всего лишь жест удивления, вызванного моим семинарским облачением. Он предложил пройтись; мне вдруг изменил голос, и я не смог отказать.

Мы шли молча. Мигали огни светофоров, гудели машины, до меня доносились обрывки разговоров других прохожих. Было такое ощуще-

ние, словно все звуки представляют собой часть некоего тайного языка, словно тысячами звуков говорит со мной мир, но я не мог сосредоточиться и ничего не понимал.

— Я какое-то время буду в городе, — произнес он.

— Инкогнито?

— Я всего лишь известный писатель. Известных писателей никто не знает по имени. Анонимность мне ни к чему.

— Что ты делал все эти годы?

— Ты читал мои книги?

— Разумеется.

— Тогда ты знаешь ответ.

— Ну а кроме того?

— Ничего. Кроме того я ничего не делал. В этом и была вся суть.

— Ах вот как!

— Это упрек?

Я не ответил.

— Коришь меня за то, что меня не было рядом? Что я не играл с вами, не скакал по двору в мешке, не водил тебя в зоопарк, не ходил на родительские собрания, не катался с тобой по ковру, не водил на ярмарки? В этом хочешь меня упрекнуть?

— А что, если твои книги недостаточно хороши?

Он покосился на меня.

— Что тогда? — продолжил я. — Если ты пожертвовал всем, а они оказались не на высоте? Что тогда?

— От такого никто не застрахован.

Мы продолжили путь в молчании.

— Обязанности, — сказал он спустя какое-то время, — это такая штука, которую мы придумываем сообразно своим потребностям. Никто никому ничем не обязан, если сам того не решит. Но я вас очень люблю. Всех троих.

— И все же ты не захотел с нами остаться.

— Не думаю, что я много упустил. Поговорим обо всем. Я остановился в гостинице напротив вокзала, приходи вечером, Ивейн тоже будет.

— А Эрик?

— Он не хочет видеться. Приходи к восьми на ужин. Поесть ты, кажется, любишь.

Я хотел было поинтересоваться, почему он считает себя вправе отпускать такие замечания, но на том он со мной и распрощался — махнул рукой, остановилось такси, отец сел в машину и захлопнул дверь.

В тот вечер мы провели вместе не один час.

Ивейн рассказывал о том моменте, когда осознал, что из него никогда не выйдет хорошего художника, а Артур — о своем желании написать книгу, которая будет исключительно посланием одному-единственному человеку, в которой, стало быть, вся художественность будет всего-навсего прикрытием, чтобы никто, кроме адресата, этого не понял — но, как ни парадоксально, именно это и сделает книгу настоящим произведением искусства. На вопрос, в чем заключался бы посыл этой книги, он ответил, что это зависело бы от того, кому она была бы посвящена, а на вопрос, кому же он собирался ее посвятить, — что это как раз зависело бы от посыла. Около полуночи Ивейн поведал о том, как его подозрения в своей нетрадиционной ориентации на девятнадцатом году жизни подтвердились, но не стали для него откровением, не вызвали испуга — однако Эрику он так и не смог открыться, опасаясь, что тот ввиду их сходства начнет заблуждаться в себе. К часу ночи и я был близок к тому, чтобы сознаться, что не верую, но все же решил этого не делать и завел разговор о Карле-Ойгене Иммермане, мальчишке, который на каждом соревновании опережал меня ровно на три секунды и не оставлял ни единого шанса. В половине второго Артур изрек,

что приспособился к жизни с чувством вины и раскаяния, как другие живут с отказавшей ногой или хроническими болями в пояснице. Около двух я немного поплакал. В половине третьего мы расстались, пообещав друг другу снова встретиться следующим вечером.

Когда мы на другой день заявились в отель, Артур уже съехал, не оставив ни записки, ни адреса. Еще пару недель я что ни день ждал, что он объявится и все объяснит. Потом перестал.

Подвалы епископского дворца, комната без окон. Дурной запах, никакого кондиционера. Покрытый линолеумом пол, крашеные белой краской стены, потолок, оклеенный звуконепроницаемым пластиком, на стене обязательное распятие. Стол для пинг-понга, настольный футбол, два старых компьютера, две приставки «Плейстейшен» и орава малолеток, прекрасно понимающих, что им нужно всего лишь смириться с присутствием двух священнослужителей — и все это будет безвозмездно предоставлено в их распоряжение. Напитки тоже предоставляются бесплатно. Моя профессия предполагает множество различных обязанностей. Если бы можно было от чего-то отказаться, то я бы выбрал именно участие в собраниях Союза католической

молодежи.

Рядом стоит тощий иезуит, отец Таулер, трет глаза и вздыхает.

— Это ненадолго, — сообщаю я.

— Целый час.

— И он тоже пройдет.

— Ты уверен?

— Ну а как иначе.

Он снова вздыхает.

— Кстати, приехал твой друг Финкенштейн.

— Да что ты!

— Он наверху, во дворце. Прямиком из Рима.

Отец Таулер подходит к одному из обтрепанных стульев. Стоит ему сесть, как тут же подбегают две девчушки, подсаживаются к нему и начинают с ним о чем-то тихо говорить. Одна явно взбудоражена, глаза у нее блестят, другая то и дело приобнимает ее за плечи.

Улыбаясь своим мыслям, я подхожу к другому стулу. С меня градом льет пот. Хочется взять чего-нибудь из автомата да выпить. Но это невозможно. Не могу же я здесь пить колу прямо из бутылки, необходимо блюсти остатки достоинства. Будь я худым — не было бы проблем. Но это не мой случай.

Я усаживаюсь и принимаюсь ждать. Может,

никому от меня ничего и не понадобится. Двое мальчишек играют в футбол, яростно дергая за рукоятки и с треском пиная туда-сюда мячик. Позади них трое девочек скачут вокруг стола для пинг-понга. Они просто отлично играют — мне почти не видно, как мелькает мячик. Свистят и поскрипывают игровые приставки. Пахнет потом. Одна из девчонок направляется в мою сторону. Я вздрагиваю, но она, к счастью, сворачивает к компьютерам. Самое ужасное — когда девочки приходят ко мне сообщить, что беременны. Я знаю, что отвечать, правила в этом отношении строги, но на самом деле просто не представляю, что делать. С усомнившимися в вере проще. Там можно просто говорить о тайне, даже думать не надо. Увы, сомневаться в вере уже не модно.

Я смежаю веки. Ну надо же, именно Финкенштейн! Наверное, придется пойти поздороваться, он ведь знает, что я здесь, будет странно, если я не объявлюсь. Да и не нужно мне его избегать, нельзя позволять зависти овладеть мной.

Открываю глаза. Кто-то потеребил меня за колено. Передо мной сидит юноша. Я его знаю, он часто сюда приходит, и звать его… Забыл. Была бы у меня хорошая память на имена, авось и

запомнил бы. У него уже пробивается бородка, на голове голубая бейсболка с буквами «N» и «Y», правую ноздрю пронзает тонкое колечко. На футболке красуется надпись «bubbletea is not a drink I like»[1]. Джинсы рваные, но это он их уже такими купил. Лицо бледное, может, поэтому бородка и заметна. Смотрит на меня чуть покрасневшими глазами.

— Да? — говорю я.

Кашлянув, он начинает говорить. Я склоняюсь к нему. С трудом разбираю его слова, бормочет он быстро, к тому же вполголоса.

— Минуточку. Помедленней, пожалуйста.

Уставившись на свои кроссовки, он опять прочищает горло, начинает с начала. Постепенно я начинаю понимать: случилась драка, в ней была замешана какая-то бабочка… «Баттерфляй, — то и дело повторяет он, изображая руками нечто вроде крылышек, то так, то эдак. — Баттерфляй».

Бабочка?.. Какая бабочка?.. Я начинаю что-то подозревать.

Ну да, да, говорит он, нож-бабочка. Баттерфляй. Вот так вот раскидывается, вот так вот пыряешь, все очень быстро произошло.

---

**[1] Примечания: 1**

«Не люблю баббл-чай» (*англ.*).

— Минуточку. Поясни.

Вздохнув, он, обливаясь потом, поясняет. Чего-то я не понимаю, но суть улавливаю. Они с двумя приятелями, которых зовут Рон и Карстен, пару суток назад поссорились на ночной дискотеке с парнем, которого тоже зовут Рон; то, что они тезки, — чистая случайность и не имеет никакого значения. Хуже, впрочем, то, что сидящего передо мной — теперь-то я припоминаю — тоже зовут Рон. Так вот, этот Рон, другой Рон и Карстен повздорили с тем Роном по какой-то причине, которой никто из них уже не помнит, может, из-за денег, может, из-за девчонки, а может, и вовсе без причины, в конце концов, ссоры постоянно возникают на пустом месте, но стоит одному поднять на другого руку, и причина теряет всякое значение, роль играет только тот факт, что кто-то кого-то ударил.

— А что это вообще значит, эта надпись на твоей футболке — «bubbletea is not a drink I like»?

Рон смотрит на меня в растерянности — видно, он никогда об этом не задумывался.

— Не важно, — отмахиваюсь я. — Продолжай.

Он заходится в кашле, трет глаза. Ну так вот, он, Рон и Карстен только что встретили тут на улице того Рона, который ударил Рона на дискотеке.

— Вот так случайность!

Вообще-то никакая это не случайность, отвечает он, учитывая, что после обеда они частенько прогуливаются по этой улице, да и Рон почти каждый день после обеда прогуливается по этой улице, но все же они не могли предвидеть, что встретятся, и Рон, по всей видимости, тоже, иначе было бы откровенно глупо с его стороны заявляться именно сейчас и разгуливать в одиночку. Ну они его и отметелили, не самым, конечно, жестоким образом, но все же как следует, основательно.

— Плохо, — отвечаю я.

Плохо-то оно плохо, но это не самое худшее, потому что тогда бабочку еще никто не доставал. Возомнил тут один о себе невесть что, и вот…

Отец Таулер встает со стула, подходит к автомату с напитками, достает бутылку кока-колы, открывает, возвращается к девчушкам, пьет. Я гляжу на него с завистью.

— Что, прости? Извини, я на секунду… Что ты сказал?

Рон спрашивает, слушаю ли я его вообще.

— Да, повтори, пожалуйста!

Так вот, возомнил он о себе невесть что. Тот парень. Хотя его это совсем не касалось, вообще

никак! Вот нахал. Он даже не с того района, кто его знает, откуда он взялся! Просто слишком много о себе возомнил!

— И что случилось?

И вот, значит, выхватил он нож. Баттерфляй. Так вот — хоп! щелк! — и пырнул. Все так быстро произошло. И они бросились наутек. А Рон остался лежать на дороге.

— Рон?

Да не тот, который ударил, а тот, другой! Он трет руками лицо.

Надпись на футболке почему-то начинает меня люто раздражать. Кто только такое шьет?

— Кто-нибудь вызвал полицию?

Может, и вызвал, отвечает Рон. Полицию всегда кто-нибудь вызывает.

— Он был ранен?

Он смотрит на меня так, словно у меня серьезные проблемы с восприятием. Разумеется, медленно произносит он. Естественно, был. Как иначе-то! Рон ведь *пырнул его! Ножом!* Бабочкой. Как тут не будешь ранен? Парень окидывает взглядом играющих в пинг-понг, режущихся в приставку, потом наклоняется ко мне и спрашивает, могу ли я даровать ему упущение.

— Отпущение?

Ну да, отпущение. Может ли он получить у меня отпущение. И могу ли я, если ко мне вдруг заявится полиция, подтвердить, что это не он его пырнул, а Рон.

— Как же я могу это подтвердить?

Голова у меня идет кругом, на этот раз не из-за жары. Неужто все это происходит на самом деле? Ко мне на исповедь еще никогда не приходил человек, совершивший насилие, преступление. В обычной жизни такого просто не бывает, даже если авторы сценариев и детективов придерживаются иного мнения и полагают, будто подобные инциденты случаются каждую неделю. Мне бы следовало вызвать полицию. Но я не имею права. Или, наоборот, обязан? Можно ли вообще считать происходящее исповедью? Мы с ним не в конфессионале, мы даже не в церкви. Может быть, я как раз и должен вызвать полицию? Почему все так сложно и почему здесь такая духота?

Словно прочтя мои мысли, он начинает всхлипывать. По его покрытым пушком юным щекам катятся слезы. Прошу вас, говорит он, прошу, господин священник!

С другой стороны, размышляю я, предположим, что это исповедь. Я имею право принимать решение на этот счет, и я считаю, что это она. В таком

случае мне никак нельзя обращаться в полицию. Церковное право запрещает мне так поступать, и законы государства на моей стороне. Вопрос тут же решился бы. Ну а отпущение? А почему бы мне не отпустить ему грех? Нет никакого Бога, который был бы обязан простить ему только потому, что я осенил его крестом. Это все слова. Они ничего не меняют.

Рон утирает слезы. Все произошло так стремительно, он же ничего не мог поделать! Зачем только этот нахал вылез и начал распинаться!

Я знаю, что буду корить себя за это, более того: сознаю, что вынужден буду заставить себя обо всем забыть, только чтобы не корить. Но, начав движение рукой, я уже не могу его прервать, и потому осеняю его крестным знамением, сверху вниз, справа налево, и он снова принимается реветь, на сей раз растрогавшись — может, он и вправду верит, что это спасет его от какой-то там геенны огненной, я же отмахиваюсь и говорю, что теперь он обязан пойти в полицию и обо всем рассказать. Разумеется, я так и сделаю, говорит он, и я знаю, что он лжет, и он знает, что я это знаю.

Спасибо, повторяет он. Спасибо вам, господин священник.

— Но ты пойди в полицию. Скажи, что…

Да, конечно! В полицию. Тут он собирается начать с начала и опять изложить мне всю эту мрачную историю, но с меня довольно. Я вскакиваю.

Рон смотрит на меня снизу вверх — с одной стороны, с облегчением, потому что полагает, будто я снял с его совести грех; с другой стороны, с опаской, потому что доверил мне свою тайну. Я гляжу на него, в его застланные пеленой глаза, которыми смотрит на меня еще не сформировавшаяся, сама себе не знакомая личность. В его взгляде страх, но не только — еще и налет мягкой агрессии, и вопрос, не стоит ли ему теперь заставить меня замолчать.

Я улыбаюсь ему, но он не отвечает мне тем же.

— Все образуется, — произношу я, сам не зная, что хочу этим сказать. Протягиваю ему руку, он встает, мы обмениваемся рукопожатием. Его ладонь влажная и мягкая; пожав мою, он тут же ее выпускает. Мне кажется, что все было бы много проще, лучше, правильней, если бы только я мог понять, что написано у него на футболке. Решительно отворачиваюсь и подаю отцу Таулеру знак, что мне придется уйти. Он изумленно поднимает брови, я показываю на

часы у себя на запястье и тычу пальцем в потолок — универсальный, во всем мире понятный жест, означающий, что меня ожидает начальство.

— Господин священник! — передо мной останавливается девочка с крестиком на шее. — У меня вопрос!

— Спроси отца Таулера.

Она с явным неудовольствием дает мне пройти, я добираюсь до двери, выхожу на лестничную клетку, отдуваясь, карабкаюсь по ступеням. Выбираюсь в прохладный, отделанный мрамором холл, постепенно превращаясь в лужу.

— Фридлянд!

Надо же, именно сейчас! Он высок и худ, на нем элегантного покроя сутана, у него превосходная стрижка и очки от Армани. И он, разумеется, не потеет.

— Приветствую, Финкенштейн.

— Жарковато у вас тут.

— Тебе ведь не привыкать.

— Да, летом в Риме тяжко, — скрестив руки на груди, он облокачивается о каменный поручень и смеряет меня взглядом, в котором почему-то читается, что его мой вид забавляет.

— Я только что принял у одного человека исповедь. Он, представь себе… То есть, я хочу сказать,

что делать, если… Как быть с тайной исповеди, если человек… Ладно, не важно. Не сейчас. Не имеет значения.

— Ты все еще играешь в кубик?

— Готовлюсь к соревнованиям.

— Что, неужто они и правда еще проводятся? Ты не спешишь? Перекусим?

Я в сомнениях. На самом деле мне не очень-то хочется выслушивать его рассказы о работе, о жизни в прохладных покоях, о карьерном взлете и успехе.

— С удовольствием.

— Тогда идем! Ранний ужин, что-нибудь легкое, в такую погоду много и не съешь. — Он поднимается по мраморной лестнице, я нерешительной поступью следую за ним.

— Виделся ли ты в последнее время с Кальмом? — спрашиваю.

— Он все тот же. Скоро станет епископом, если на то будет воля Божья.

— А она будет.

— Согласен. Будет.

— Ты веришь в Бога?

Он замирает.

— Мартин, я заместитель главного редактора радио «Ватикан»!

— И что с того?

— Ты спрашиваешь замглавы радио «Ватикан», верит ли он в Бога?

— Именно.

— Ты что, серьезно?

— Разумеется, нет. Но если бы я спросил всерьез, что бы ты ответил?

— Ответил бы, что вопрос так не стоит.

— Почему же?

— Потому что Бог — понятие самореализующееся, Бог — это causa sui[2], просто потому, что он мыслим. Я могу помыслить его, и следовательно, раз его можно помыслить, он должен существовать, иначе возникло бы противоречие. Поэтому я знаю, что он существует, даже если я в него не верю. Поэтому я верю. И не забывай, мы осуществляем реальность Бога через действенную любовь к ближнему. Делаем свою работу. Бог в нас, но он обитает среди нас лишь потому, что должен существовать. Как можно любить людей, если видишь в них не тварей Божиих, а некую случайность, возвеличившийся лишай, обретших пищеварение и заработавших боль в спине млекопитающих? Как им сочувствовать?

---

**[2] Примечания: 2**
Причина себя (*лат.*).

Как любить мир, если он не есть воля того, кто сам является воплощением доброй воли?

Я снова вспоминаю Рона, это куда важнее, вот о чем следовало бы поговорить. Но меня что-то удерживает, у меня такое чувство, что я коснулся чего-то более могущественного и злого, чем могу сейчас себе представить; такое чувство, что лучше бы мне обо всем этом забыть.

— И вообще, что значит «верить»? Логика этого понятия весьма расплывчата, Мартин. Если ты уверен в каком-то положении, то ты это знаешь. А если полагаешь, что нечто может быть, но при этом знаешь, что это, возможно, и не так, то это называется верой. Это спекулятивное рассуждение о вероятности. Верить — значит полагать, что нечто, возможно, таково, хотя может таковым и не являться. Не верить означает полагать, что нечто, возможно, таковым не является, хотя может статься, что оно именно таково и есть. Есть ли тут сколь-нибудь существенная разница? Все это крайне неопределенно, все это просто градации. Важно лишь, что мы делаем свою работу.

Мы восходим наверх, ступень за ступенью, и наши шаги эхом разносятся по лестнице.

— Ты всерьез спрашивал?

— Просто полюбопытствовал.

— А во что веришь ты?

— В то, что и для меня должно было найтись место в Риме.

— Да, несправедливо все это. Но ты не ответил на мой вопрос.

Мы достигли второго этажа. На нас глядит преисполненная достоинства статуя со сложенными в молитве руками.

— На какой вопрос?

— О том, во что веришь ты сам.

Я останавливаюсь и, опершись на перила, жду, когда уймется сердцебиение.

— В то, что если не поедим, нас будет мучить голод.

# Семья

Люди верят, будто где-то хранятся их мертвецы. Верят, что во Вселенную вписаны следы их бытия. Но это неправда. Что прошло, то прошло. Что было, то будет забыто, а что забыто, того не вернуть. Я не помню своего отца.

Он писал стихи. Я ни одного его стихотворения не читал. Он записывал их на листках, на нижних полях меню в ресторанах, на почтовых конвертах, беспорядочно, просто удовольствия ради. Какие-то он забирал с собой, какие-то оставлял; ему постоянно приходили в голову другие, и он знал, что это только начало.

Только поступив в университет, он узнал, что он — еврей. До той поры ему казалось, что такие вещи значат не больше, чем знак зодиака. Его мать была еврейкой, хотя иудейкой не была; ее дед был длиннобородым торговцем из Буковины.

Он не посещал лекций, никогда. Одна девушка, знакомая знакомых, согласилась выйти за него. Однажды вечером он увидел демонстрацию — люди шли, потрясая кулаками и знаменами.

Он хотел было подойти поближе, посмотреть, но сокурсник потянул его за рукав и сказал, что им лучше исчезнуть. Ему это показалось нелепостью. Его отец погиб на фронте, он был сыном героя — что могло случиться?

Когда родился я, он работал на фабрике; из университета его к тому времени уже отчислили. Фабрика выпускала изделия из металла, предназначение которых было ему неизвестно. Однажды двое рабочих отвели его в сторону и сказали, что знают, что он саботажник, но бояться ему нечего — они его прикроют. Когда он ошарашенно возразил, что на производстве всегда старался изо всех сил, те, смеясь, ответили, что не верят ни единому слову — нельзя быть настолько неуклюжим. В тот день по дороге домой он сочинил стихотворение о грохочущих турбинах самолета, пилот которого на мгновение задремал за штурвалом, и ему снится муравей, ползущий по травинке, дрожащей на ветру, доносящем далекий рокот турбин. Недурно, подумал он, в этом стихотворении есть ритм и простота; если продолжать в том же духе, то авось что-нибудь и получится напечатать. Дома его ждало официальное письмо, в суровой бюрократической форме требующее, чтобы он взял смену белья, одеяло и

явился на вокзал.

Лучше бы вам перебраться в Швейцарию, посоветовал он моей матери и добавил: как только получится, я вырвусь к вам. Есть один чиновник, он был большим поклонником моего деда, видел его в роли шиллеровского Карла Моора; он должен помочь.

Поначалу она не хотела ехать, но он ее уговорил. Дело не могло кончиться совсем уж плохо. По крайней мере, до тех пор ему всегда везло.

Я не знаю, как он выглядел. Ни на одной фотографии нет его лица.

Отцу моего отца не исполнилось и двадцати, когда он погиб, но первый год войны он все-таки пережил. Провел тысячи часов в разрытой глинистой грязи, за колючей проволокой, вокруг гранаты, свист в воздухе и осколки. Когда его отпустили домой на побывку и он увидел жену с малюткой сыном, они показались ему какими-то чужими. Прошел еще год. За это время он настолько свыкся с мыслью, что ему суждено умереть, что даже не верил, что это и впрямь может произойти. Но все же его настигла пуля, по нему протопали сапогами, и он еще совершенно автоматически успел подумать, как бы ему выкарабкаться на этот раз. Он захлебнулся в грязи — и

поминай как звали.

Дед моего отца всю свою жизнь отдал театру, но ему никогда не доставалось «тех самых» ролей. Он был не Гамлетом, а Гильденстерном, не Марком Антонием, а Цезарем, не Францем Моором, а Карлом. Он живописал двум своим сыновьям и двум дочерям, какие жертвы приходится приносить во имя искусства, но ни в одном из детей не проявился талант. Шли годы, он еще надеялся сыграть короля Лира и Просперо. Старший сын скончался от испанки, младший женился на еврейке — деду это было не по душе, но и сил воспрепятствовать он в себе не нашел. Старшая дочь вышла замуж за учителя, младшая покорно осталась дома варить супы ему и его жене.

Он увидел на экране первый фильм со своим участием. На фоне белой стены сгрудились бледные фигуры. Он не мог понять, над чем люди смеются, — ему виделась одна нежить, и сама мысль о том, что мир вскоре сможет лицезреть, как люди бросаются друг в друга тортами спустя много лет после того, как умерли, крайне его расстраивала. Усатый недомерок, громадный толстяк, клоун с утрированно печальной миной — куда катится мир, думал он. Еще какое-то время он, конечно, продержится, но ведь все это

иллюзия, как и эти картинки на экране.

С того дня он больше не вставал. Даже начало войны не вызвало у него никаких чувств. Когда к нему пришел прощаться сын в военной форме, он постарался по такому случаю выглядеть как можно достойнее. Ведь не зря же он был актером.

Прадед отца был врачом, пусть и не из лучших. Учиться на медика он пошел только потому, что его отец тоже был врач. У него была небольшая клиентура, многие больные у него умирали, некоторых сумела выходить его жена, которая была поумнее. Зачастую ей удавалось сообразить, какое лечение шло на пользу. Но потом она тоже умерла. Чтобы было, кому присматривать за детьми, прадед женился второй раз. Новая жена наводила на него тоску, и больных стало умирать еще больше.

При всякой возможности он рассказывал, как однажды, еще в молодости, повстречал Наполеона. На самом деле он успел углядеть лишь шинель, топорщившуюся над крупом лошади, да руку в белой перчатке. Когда он наконец ушел на покой, ему стало казаться, что за свою жизнь великий полководец загубил меньше душ, чем он за свою. Вскоре умерла и вторая жена. Последние годы он прожил в полном счастье.

Отец этого врача, тоже врач, обладал талантом успокаивать больных беседой. Чаще всего он догадывался, чем страдает пациент. Он увлекался месмеризмом и научился вводить больного в магнетический транс. Когда и его сын решил стать врачом, он возрадовался. Дочь тоже охотно пошла бы учиться, она была умной и способной девушкой, но пришлось ей запретить. В качестве компенсации он подыскал ей добропорядочного мужа, работящего и не дававшего воли рукам. Когда ему перевалило за шестьдесят, он как-то ночью улегся в постель, вздохнул — и поминай как звали.

Его отца шальная пуля лишила руки. Он родился очень смуглым, никто не знал почему; мать растила его одна в глубокой бедности. Он пошел в солдаты — вербовщикам казалось, что черные мужчины сильнее белых. В его жизни было много муштры, но иногда случалось и повышение; за время службы он успел наплодить троих, все вышли белыми. В конце концов пуля угодила ему в шею, он захлебнулся кровью — и поминай как звали.

Его отец в свое время отправился в Англию, устроившись юнгой на корабль. Скопил немного

денег, попробовал себя в торговле, но оказался не слишком удачлив. Однажды разговорился с молодым французом, прибывшим, чтобы описать работу лондонской биржи. Тот был тщедушен, тощ, но умен, его глаза быстро подмечали, что творилось вокруг, и он был столь велик духом, что тот и представить себе ничего подобного не мог. Был бы я таким, подумалось ему, я бы горы свернул. Все давалось бы легко, мир не оказывал бы такого сопротивления. На прощание он спросил у собеседника, как его зовут. «Аруэ», — бросил тот и поспешил прочь, поскольку беседа ему весьма докучала.

От этой встречи он так никогда и не оправился. Его одолела усталость. Он едва сумел открыть неподалеку от Флит-стрит магазинчик, где торговал кувшинами, мисками и прочей ерундой, жениться на женщине, которая ему не очень-то и нравилась, и зачать с ней ребенка; впрочем, ему казалось, что его собственных сил на это уже не хватило, и основные усилия приложил ребенок, сын, стремившийся во что бы то ни стало появиться на свет. Ребенок родился черным, но родитель-то был белым, и жена его тоже; следовательно, она ему с кем-то изменила. Он бушевал, она рыдала, он кричал, она клялась, он призывал

в свидетели Бога, она тоже; наконец, собрав последние силы, он прогнал ее. Внутренности его к тому времени уже изнылись, месяц спустя он скончался — и поминай как звали.

Его отца тянуло к морю. В нем говорила тоска его предков. В гавани Гамбурга он возлежал с какой-то женщиной, не зная ее имени, а она не знала его; вообще он их, женщин, не слишком жаловал, но эта была прямо мужиковатой, и было как-то легче. Потом он нанялся на кухню корабля, который направлялся в Индию, но затонул через три недели после выхода из гавани. Его плоть пожирали рыбы, настолько ему чуждые, что он и представить себе такого не мог; кости его обратились в кораллы, волосы — в травы морские, глаза — в жемчуг.

Его отец был темнокожим. Он был сыном помещика и служанки родом из Тринидада, черной как ночь. Пока он рос, никому не было до него никакого дело, и, наверное, в том было его счастье, но когда ему исполнилось пятнадцать, отец сунул ему денег, и он пустился странствовать по миру. Куда его тянуло, он и сам не знал; всякое новое место казалось ему похожим на предыдущее, а планов у него не было никаких. Время,

думал он, прислонясь виском к окошку почтовой кареты, — всего лишь иллюзия. До него по этим холмам колесили другие, после него придут новые поколения, но холмы остаются прежними, и прежними остаются земля и небо. В принципе, и лошади прежние — так в чем же разница? Да и между людьми, размышлял он, разница тоже не то чтобы велика. А как иначе, если по сути своей все мы — один и тот же человек, всякий раз мечтающий о чем-то ином? Вот только имена сбивают с толку. Отбросить их — и все сразу становится ясно.

Осел он в маленькой деревушке. Местным его смуглая кожа была в диковинку — они еще такого не видали. Поначалу подковывал лошадей, затем сделался коновалом — чуял, где у них болит. Животные доверялись ему, люди не испытывали к нему ненависти. Он женился и произвел на свет семерых детей: одни умерли при родах, другие выжили, но, к его немалому удивлению, все они были белыми. Пути Господни неисповедимы, говорил он жене, и нам должно идти этими путями и не жаловаться.

Так он состарился. Он был доволен жизнью — первый в своем роду. Однажды вечером, выйдя в дождь, он встал перед домом на колени, изум-

ленно огляделся кругом, закрыл глаза, склонился, словно собираясь прильнуть ухом к земле, — и поминай как звали.

Отец его, помещик, был алхимиком, так и не сумевшим сотворить золото — в чем, впрочем, не было ничего удивительного, ведь этого ни у кого не получилось. Он жил в своем имении, открытом всем ветрам, заделал дюжину, а то и больше, детей служанкам, в том числе негритянке из Тринидада, умевшей врачевать и колдовать, так и не женился и долго размышлял, католиком ему бы хотелось быть или протестантом. Негритянка же часто думала о местах, откуда была родом, — вспоминала жару, вспоминала дожди, легкие, как сам воздух, мощь солнца и ароматы растений. Она лелеяла своего темнокожего мальчика, целовала его, прижимала к себе, когда только могла — а бывало это не так часто, ведь ей приходилось трудиться в поте лица, и когда он решил покинуть дом, она поняла, что он не вернется.

Помещик тем временем мучился зубами. Они выпадали один за другим, и временами боль буквально сводила его с ума. Однажды смурным утром ему стало так худо от абсцесса челюсти, что пришлось улечься в постель. Кто-то, кого он уже не узнавал, прижал к его лицу букет резко

пахнущих трав. Полчаса спустя он скончался от заражения крови — и поминай как звали.

Его отца возвеличила великая война. Под Льежем он потерял три пальца, под Антверпеном — ухо, под Прагой — руку, увы, не ту, на которой к тому времени недоставало пальцев. Но он был искусным мародером, знал, где пахнет золотом, и, накопив достаточно, уволился со шведской королевской службы и приобрел усадьбу. Женился, завел троих детей и вскоре сам был убит мародерами. Происходило это долго и мучительно, они разное на нем испробовали, пока жена с детьми прятались в подвале. Когда вломившиеся в дом скрылись, он был еще жив, но родные с трудом узнали его в том, во что он превратился. Протянув еще два дня, он скончался, но напоминает о себе по сей день: бывает, кто-то видит его фигуру — по всей видимости, дух, — который устало бродит по дому.

Мать его была женщиной необыкновенной. Ей снились чрезвычайно живые сны, и временами ей казалось, что она может заглянуть в будущее или увидеть нечто, происходящее далеко от нее. Родись она мужчиной, перед ней открылось бы множество дверей, ее ждала бы великая судьба.

Однажды ей приснился одноногий, одноглазый старик, прячущийся в каком-то сарае. Он чувствовал, как стынут его члены, как холод сжимает горло, и смеялся, словно с ним в жизни не происходило ничего столь же занимательного. Но прежде чем тот отдал Богу душу, она проснулась.

Ее увлекало то одно, то другое. Она тайком вскрывала трупы, благо их было вдосталь — война длилась уже так долго, что успели состариться люди, никогда не знавшие мира. Она изучала мышцы, фасции, нервы, в промежутке родила пятерых детей, трое из которых выжили — но тут ей на голову упала черепица. В этом не было ни Божьего промысла, ни воли судьбы: просто кровельщик попался неумелый, — и поминай как звали.

…Отец ее сперва был разбойником. Мать его бросила, и воспитывала его крестьянская чета, нуждавшаяся в дешевой рабочей силе. Кормили его скудно, и вскорости он сбежал.

Лесов вокруг было просто невообразимое множество. Леса не подчинялись законам; тех, кто решался туда забрести, не хранил Господь и не мог защитить ни один князь земной. Некоторое время он грабил путников и спал в норах, пока однажды перед ним не предстала ведьма — урод-

ливое создание, укрытое копной волос и усеянное бородавками, на треть жена, на треть муж, на треть — рогатый кабан. Она жрала что-то маленькое, окровавленное, может быть, олененка, а может, и человеческого детеныша — посмотреть он не отважился. Ведьма подняла голову: глаза у нее были ядовито-зеленые, зрачки — крохотные точки. Он понял, что та видит его насквозь и никогда не забудет. И бросился наутек, прерывисто дыша. Ветки хлестали его по лицу. Настала ночь, за ней новый день. Не помня себя от изнеможения, он достиг городских стен.

Там он остался и стал управляющим — домами, полями, имениями. Родил девятерых детей, из которых выжили лишь три девочки. Завел друзей, заработал денег и жил так, словно позабыл, что проклят. Дочерей своих он воспитывал, как сыновей, и гордился ими. Они повыходили замуж и подарили ему внуков. Семейство их слыло добрыми католиками, как и весь город; каждое воскресенье он ходил в церковь и покупал у священника вечное благо для своей души. Поговаривали, что скоро начнется война, но он в это не верил. Но однажды ночью ведьма явилась ему: он видел ее совершенно ясно, хотя в комнате было темно, а сама она была чернее ночи. Его на-

шли на следующее утро — и поминай как звали.

Отец его был наставником на службе у графа Шуленбурга. У графа была дочь, между ними шла тайная переписка, были клятвы и планы побега вдвоем за море, где якобы открыли новые земли — что, правда, могло оказаться и сказкой, откуда им было знать наверняка? Общая судьба имела в их глазах огромное значение — совместное будущее представлялось им так ясно, словно было описано в книге.

Но когда выяснилось, что графская дочь беременна, учителя подкараулили на улице двое мужчин и так измолотили железяками, что он испустил дух. Родила она тайно, ребенка у нее забрали, а ее саму выдали замуж за местного аристократа, который так никогда и не узнал, что был у нее не первым.

Несколько лет спустя она удалилась в монастырь в Пассау, где принялась за комментирование воззрений Аристотеля об облаках. Бог, поясняла она, не существует вне мира; он и есть мир, и именно поэтому у мира нет ни начала, ни конца. Кроме того, Бога нельзя назвать ни плохим, ни хорошим, поскольку он наполняет собой все вещи; поэтому же не существует ни случайности, ни рокового стечения обстоятельств

— ведь мир, в конце концов, не театральная пьеса. Ее рассуждения знали бы по сей день, если бы рукопись не пожрали клещи.

Отцом злосчастного наставника был священник. В том не было ничего дурного — Лютер еще не приколотил к церковным вратам свои тезисы, и Святой престол относился к этому спокойно. Детей у него было множество. Он провожал в последний путь чумных, соборуя их и пуская им кровь, и от кровопотери те умирали еще быстрее.

То были не самые лютые времена черной смерти. Бубонная чума шла на спад, серьезные эпидемии случались много южнее, но через кровь одного из больных он все-таки заразился. Он ждал этого; практически никто из тех, кто имел дело с чумными больными, долго не протягивал, и к смерти он готовился едва ли не с облегчением. У его одра возник одноглазый, одноногий старик, потрепанный жизнью и изборожденный морщинами, положил свою тяжелую десницу ему на плечо и пробормотал нечто нечленораздельное — казалось, он забыл человеческий язык. Так, хромая и бормоча, он и отправился восвояси.

Отцом священника был зажиточный кре-

стьянин, владевший большим наделом земли. Человеком он был радостным, хотя никто не знал, почему, и любил играть со своими детьми. Многие из них почили рано, и, стоя у их маленьких могилок, он думал, что все-таки правильно у людей повелось не любить своих чад с ранних лет.

Он никогда не покидал своего двора; не ропща, платил подати. Время от времени являлись люди, пришедшие издалека и державшие путь еще дальше, но они казались ему бесплотными, словно призраки. Однажды появился старый человек, у которого был только один глаз и только одна нога, и заявил, что он якобы его родственник. Он задержался на несколько недель, много ел и по ночам пугал своими криками батраков. Потом взял свои костыли и уковылял прочь.

Однажды ночью крестьянина охватило такое чувство, будто его прокляли, и на него напал такой страх, что он больше никому не мог взглянуть в глаза — ни жене, ни батракам, ни детям. Некоторое время его мучило желание встретиться хоть с кем-то взглядом, но он знал, что ему следует противиться, дабы не попасть в ад. Но противиться он не смог. Затем какое-то время снова мог, потом опять нет. Умирая, он горько плакал от страха перед геенной огненной. Его

старший сын, только-только рукоположенный в священники, хотел знать, что в конце концов случилось с душой его отца — но тот скончался, и поминай как звали, а стало быть, никто этого никогда не узнал.

…Его отец тоже был крестьянином и никогда не покидал своего двора. Время от времени являлись люди, пришедшие издалека и державшие путь еще дальше, но ему этого не хотелось.

И отец его отца был крестьянином и никогда не покидал своего двора. Время от времени являлись люди, пришедшие издалека и державшие путь еще дальше, но ему этого не хотелось.

Отец отца его отца тоже был крестьянином и никогда не покидал своего двора. Время от времени появлялись люди, пришедшие издалека и державшие путь еще дальше, но ему этого не хотелось.

И его отец тоже был крестьянином и никогда не покидал своего двора. Пускаться в путь ему вовсе не хотелось — он не понимал, что заставляет людей странствовать, как если бы повсюду не было одних и тех же деревьев, холмов и озер. Он возделывал землю, старался не видеться с сестрами, рано скончался — и поминай как звали.

Его отец тоже был крестьянином, никогда не покидал своего двора и обзавелся большим потомством. Двое детей — девочки — появились на свет разом и были похожи друг на друга, словно две ипостаси одного человека. Что за чертовщина? Да и священник сказал, что это дурное предзнаменование. Мать молила Господа о милости. Утопить дочерей он так и не решился. Те выросли и вышли замуж за крестьян из ближайшей деревни. Он дал им хорошее приданое. Их дети ни капли не были похожи друг на друга.

Отец его был бродягой, колдуном, шарлатаном и рвал зубы. Ему удалось спастись от чумы; добравшись до Кельна, он на глазах изумленной толпы взмыл в воздух и трижды облетел вокруг собора, который тогда еще только начинали строить. Потом стали судачить о том, как ему удалось так ловко всех провести, но на самом-то деле взлететь не так уж и сложно, если не бояться и не сомневаться в себе, да еще и быть сумасшедшим. Близ Ульма один торговец обвинил его в том, что тот украл у него деньги; так и было, однако он знал: нужно лишь бегать быстрее всяких дураков, и тогда тебе ничего не грозит. На околице какой-то деревни, среди особенно высоких деревьев, он зачал ребенка, которого никогда не увидел — да

он и сам не знал своего отца.

Так прошла его жизнь. Одни говорили, что он кончил свои дни в Палестине, другие — что на виселице, и лишь немногие полагали, что он еще жив, потому что смерть может настичь каждого, но только не такого, как он.

Отец его был сыном солдата, взявшего силой не желавшую его женщину на обочине дороги, среди полей. В его тисках ей стало ясно, что Господь не смилостивится над нею, потому что ад отнюдь не ждал ее впереди, а наступил здесь и сейчас. Солдату вдруг сделалось ясно, что он творит бесчинство, и он выпустил ее, но было поздно; он бросился бежать и позабыл о случившемся. Она бросила ребенка в конюшне сразу после родов — и тоже позабыла.

Но мальчик выжил. Пережил чуму, косившую людей по всей стране, пережил боль и тиф; он не хотел умирать, хотя все указывало на то, что к этому идет: еды почти не было, но он все жил и жил, повсюду было дерьмо и роились мухи, но он жил, а если бы умер, то не было бы ни меня, ни моих сыновей. На нашем месте были бы другие, они бы думали, что все так и должно было случиться — но их нет.

Он вырос, стал кузнецом, нашел себе жену, от-

крыл свою маленькую лавчонку, которая вскоре сгинула в пожаре, потом стал конюхом. Родил восьмерых детей, из которых трое выжили. Затем его переехала повозка, он потерял ногу, но опять-таки остался жив, хотя начавшаяся гангрена и взбаламутила ему голову. Ему почудилось, будто ему явился дьявол, и он попросил его даровать ему долгую жизнь; дьявол вернулся в пекло, и жар отступил.

Однажды утром он проснулся — прошли недели, а может быть, даже годы, — и с трудом припомнил игру в карты, вино и вытащенные ножи. Ничего больше о минувшей ночи он вспомнить не мог, мир съежился, словно от него отрезали кусок, и, принявшись ощупывать нос в поисках источника боли, он обнаружил, что одного глаза недостает. Поначалу его одолел испуг, но потом он расхохотался. Вот везение — он всего лишь лишился глаза, а ведь могло и что похуже приключиться! Глаз-то у человека два — сердце одно, легкие одни, желудок один, а глаз таки два! Жизнь тяжела, но все же в ней нет-нет, да и повезет.

# О том, как идут дела

Вот уже какое-то время я слышу плач. Еще минуту назад это был просто странный шорох, который я слышал во сне, но сон улетучился, а плачет женщина, что лежит подле меня. По-прежнему не открывая глаз, я чувствую, что мне откуда-то известно: голос принадлежит Лауре — или, точнее, все это время он ей и принадлежал. Она рыдает так, что трясется матрас. Лежу не шевелясь. Сколько еще мне удастся притворяться спящим? Я бы с таким удовольствием вновь пал в объятия Морфея, но увы — день начался. Я открываю глаза.

Сквозь щели жалюзи проникают лучи утреннего солнца, чертя по ковру и стенам тонкие линии. Узор ковра симметричен, а если смотреть на него слишком долго, то он завладевает вниманием, привязывается и уже не отпускает. Лаура лежит рядом, совершенно спокойно, ее дыхание беззвучно, она крепко спит. Откинув одеяло, я встаю.

Пока я бреду босиком по коридору, вспоминается сон. Да, вне всяких сомнений, это была бабушка. Вид у нее был усталый, измученный и

какой-то неполноценный, словно лишь части ее души удалось до меня добраться. Она предстала передо мной, скособочившись, опершись на клюку, пучок ее был подколот двумя шариковыми ручками. Она раскрывала рот, делала знаки руками, хотела мне во что бы то ни стало что-то сообщить. Казалась она при этом невероятно обессилевшей, губы трубочкой, в глазах мольба — а в следующее мгновение ход сна изменился и унес меня прочь от нее, в совершенно другое место. Так я никогда и не узнаю, что она пыталась мне сказать.

Я бреюсь, захожу в душ и включаю горячую воду. Сначала льется теплая, потом горячая, потом кипяток — как я люблю. Откинув голову назад, подставляю тело под струи воды, прислушиваюсь к шуму, чувствую обжигающую боль и на мгновение забываю обо всем.

Забвение длится недолго. Вот уже волной нахлынули воспоминания. Может, я и продержусь еще месяца два. Или три. Но не больше.

Закрываю кран, выхожу и зарываюсь лицом в махру полотенца. Как всегда, моя память, реагируя на запах, воскрешает картины прошлого: вот мама несет меня, завернутого в полотенце, в постель; на фоне свисающей с потолка лампы

— рослая фигура отца, его взлохмаченные волосы подведены бьющим в спину светом; в соседней кровати уже дремлет Ивейн; вот наша песочница, где я все время стремился разрушить башни, которые он возводил; вот луг, где он нашел дождевого червя — я тогда разорвал его надвое, и он ужасно расплакался. Или все было наоборот? Надеваю халат. Пора принимать лекарства.

В кабинете все по-старому. Это успокаивает. Письменный стол с большим монитором, Пауль Клее на одной стене, Ойленбёк — на другой; пустые папки. Никогда здесь не работал. Полки тоже пусты, из справочной литературы ни один том так и не был раскрыт. Но если я устраиваюсь здесь и делаю вид, будто погружен в дела, ко мне никто не заходит, и одно это уже дорогого стоит.

Два тропрена, один торбит, один превоксал и один валиум — не стоит начинать день со слишком уж большой дозы, должен же у меня, в конце концов, оставаться шанс ее увеличить, если вдруг случится что-нибудь непредвиденное. Глотаю все разом — это неприятно, и приходится собирать всю волю в кулак, чтобы подавить рвотный рефлекс. Почему я не запиваю их водой, мне неизвестно.

И вот я уже чувствую их действие. Вероятно,

это лишь игра воображения, таблетки не могут действовать так быстро, но разве это имеет значение? Меня ватой окутывает безразличие, и можно продолжать жить. Однажды ты потеряешь все, само имя «Эрик Фридлянд» будет вызывать отвращение, те, кто еще верит тебе, станут тебя проклинать, семья твоя развалится, а тебя упекут за решетку. Но не сегодня.

Никогда и никому я не должен признаваться, до чего ненавижу этого Клее. Косые ромбы, красные на черном фоне, рядом перекошенный, откровенно жалкий человечек — палка-палка-огуречик, — я и сам бы мог такое нарисовать. Знаю, так думать нельзя, это табу, но никак не могу избавиться от этой мысли — да, я и сам бы мог такое нарисовать, мне и пяти минут не понадобилось бы! А вместо этого мне пришлось выложить за нее семьсот пятьдесят тысяч евро, потому что у человека в моем положении просто обязана висеть ну очень дорогая картина: у Янке есть Кандинский, у Неттельбека из «БМВ» — Моне (а может, и Мане, черт его знает), у старика Ребке, с которым я играю в гольф, на газоне стоит Ричард Серра — громадная ржавая штуковина, страшно мешающая во время вечеринок в саду. И вот сколько-то лет назад я попросил Ивейна

подыскать и мне что-нибудь подходящее, только чтоб наверняка.

Брат тут же сделал вид, что не понимает меня. Подыскать картину? Да с радостью, с удовольствием, он это дело любит. Вот только что значит «чтоб наверняка»?

— Это значит, что она должна впечатлить любого. Чтобы ни один спец не мог к этому художнику придраться. Ну как Пикассо, например. Или да Винчи. Кого-нибудь из этих.

Он надо мной только посмеялся. Это дело он тоже любит. Пикассо? Да есть сотни специалистов, которые вообще не воспринимают его всерьез, а если еще попадется не тот период, можно просто осрамиться. Поди найди кого-нибудь, кто скажет доброе слово о позднем Пикассо! Впрочем, можно взять Пауля Клее, против него никто ничего не имеет.

— А что насчет да Винчи?

— Да Винчи на рынке нет. Покупай Клее.

Он же торговался за меня на аукционе. Дойдя до полумиллиона, позвонил мне спросить, играть ли ему дальше. В тот момент я бы с радостью высказал ему все, что думаю. Но неужели он считает, что я не могу позволить себе даже кривобокого человечка? Некоторое время картина

висела в зале, но потом Лауре она почему-то разонравилась и с тех пор висит у меня над рабочим столом, человечек пялится на меня в упор и сеет раздор в моих сновидениях. Продать я его не могу — слишком многие видели его у меня в зале, да я и сам привлекал к нему внимание — поглядитека на моего Клее, что вы скажете о моем Клее, да, разумеется, это подлинник! Как только за дело возьмутся следователи, они в первую очередь спросят, куда это запропастилась моя картина. Искусство — самая настоящая ловушка, и больше ничего! Хитроумная выдумка людей вроде моего брата.

Все еще закутанный в халат, я бреду по коридору, спускаюсь по лестнице в медиатеку. Там растянут экран, стоит проектор, а черные кубики колонок такие мощные, что звук охватил бы целый футбольный стадион. Перед экраном стоит мягкий кожаный диван.

На столике пульт. Не раздумывая, я сажусь, беру его, жму на кнопки. Раздается жужжание, экран наполняется жизнью — утренний эфир, передача о живой природе. На травинку садится стрекоза. Ее ножки не толще волоса, крылышки дрожат, щупики скользят по шершавой зеленой поверхности. Занятно, но это заставляет меня

вспомнить о камере.

Она спрятана где-то в медиатеке. Было бы странно, если бы ее там не было, ведь среди всех этих линз запрятать камеру легче всего — мне ее там никогда не обнаружить. Снова жму на кнопку, луг исчезает, вместо него появляется статс-секретарь, который, стоя за кафедрой, лопочет так быстро, словно от того, как скоро он закончит доклад, очень многое зависит.

— Нет, — произношу я. — Нет, нет, нет и еще раз нет. Нет!

К счастью, сработало. Говорить он стал медленней.

Но, к сожалению, при этом он меня заметил. Не прерывая выступления, секретарь бросает беглый взгляд в мою сторону. Никто, кроме меня, не обратил бы на это внимания.

Я затаил дыхание. Теперь главное — не совершить неверного поступка. Ведь, разумеется, это полный бред — что он на меня взглянул, я же понимаю, что выступление транслируется в записи: никто не устраивает пресс-конференций в такую рань.

Но при этом я знаю, что он на меня посмотрел.

— Спокойствие. Только спокойствие.

Меня охватывает дрожь, когда я осознаю, что

произнес это вслух. Не могу же я взять и вот так вот опозориться! Ну а статс-секретарь — я вдруг вспоминаю его имя, его зовут Оберман, Бернд Рихард Оберман, в его ведении то ли образование, то ли энергетика, — так вот, он услышал, что я сказал, ибо губы его тронула издевательская усмешка. Я не подаю вида, так просто меня из равновесия не вывести. Спокойствие, повторяю я, на этот раз беззвучно, не шевеля губами, делая вид, будто все в порядке! Как-то надо заставить себя отвести глаза от экрана. Я сосредотачиваюсь на краешке моего поля зрения — и смутно вижу что-то на ковре, некий дисбаланс: пятно от красного вина. Черт подери, да этот ковер стоил мне тридцать пять тысяч!

Ярость помогает мне отвлечься от трансляции. Краем глаза вижу, что Бернд Оберман исчез. У микрофона — довольно безвредного вида человек, которого я не интересую. Хватаю пульт, и картинка, моргнув, исчезает.

Чудом пронесло. Я встаю, замечаю, что в дверях кто-то стоит, и вздрагиваю.

— Я тебя напугала?

— Нет-нет, что ты, с чего? Вовсе нет. Нет! — я гляжу на свою дочь, та глядит на меня, и, чтобы заполнить паузу, я задаю вопрос:

— У тебя сегодня контрольная?

— Да, по математике.

Поздравляю, теперь я произвожу впечатление отца, который находится в курсе дел и участвует в жизни своей дочери, хотя на самом деле я просто знаю, что школьники часто пишут контрольные. Им все время приходится сдавать какие-то экзамены, каждый день случается какая-нибудь пакость.

— Ты не знаешь, откуда это пятно?

Она качает головой.

— Если это ты его посадила, просто скажи, я не буду тебя наказывать.

— Папа, я не пью вина!

Хорошо сказано. Я бы схватил ее и расцеловал в обе щеки, но вспоминаю о камере и не двигаюсь.

— Ну и как? — спрашиваю я. — Готова к контрольной? Занималась?

Она пожимает плечами, словно не верит, что меня это действительно интересует. Обидно. Меня это и впрямь не интересует, но я все-таки стараюсь, как могу, делаю вид, что для меня это важно. Я вдруг замечаю маленького паучка, ползущего вверх по стене, рядом с дверью. Чем он живет, этот паук, что ест, что пьет — или пауки не пьют? Спросить бы у Мари, они наверняка в шко-

ле такое проходят, но вместо этого спрашиваю:

— И что вы сейчас проходите? Дошли уже до дифференциальных уравнений?

— До чего?

— Ты не знаешь, что такое дифференциальные уравнения?

— Папа, мне десять лет!

На все у нее есть ответ. Паук тем временем добрался до другой стороны двери — как это ему так быстро удалось?

— Что? — спрашивает она.

— Не чтокай. Правильно говорить не «Что?», а «Прошу прощения?».

— Прошу прощения?

— А? Что?

— Что за паук, папа?

Я что, опять говорил вслух? Господи боже мой!

— Ты только что сказал…

— Неправда!

— Но ты же…

— Ничего я не говорил!

Громковато я на нее прикрикнул. Не хочу же я пугать собственную дочь, да и про камеру забывать нельзя. Я озадаченно провожу рукой по ее волосам. Мари улыбается, отворачивается, и вот уже скачет прочь, как дети любят — вприпрыжку,

вприскок, вприпрыжку.

— Поторапливайся! — кричу я ей вслед. — Опаздываешь, уже пора быть в школе!

Понятия не имею, во сколько у нее начинаются уроки, но вряд ли сильно ошибаюсь.

Что она будет обо мне думать, когда я окажусь в тюрьме? Поднимаясь на верхний этаж в гардеробную, я снова задаюсь вопросом, почему мне не хватает смелости ускорить процесс. Ведь многим же удавалось: пистолет, таблетки, выход в окно. Почему же я не могу?

Наверное, у меня слишком сильная воля. У сильной воли бывают не только преимущества, но и недостатки. Можно многое снести, впутаться в более сложные истории, и сдаться тоже гораздо труднее. Бледные, пустые и бессильные, потерявшие себя — им больше нечего терять, они могут просто повеситься на ближайшем столбе. Но во мне есть что-то, что не позволяет этого сделать.

Люблю находиться в гардеробной. Здесь редко возникают трудности. Рядком висят семнадцать сшитых на заказ черных костюмов, в ящиках сложены тридцать девять белых рубашек, на вешалке для галстуков — двадцать пять галстуков одинакового красного цвета, все без единого пятнышка. Иногда мне дарят другие, чаще всего

с каким-нибудь изысканным узором — их я выбрасываю. Есть только один черный, на случай похорон. На полу выстроилась двадцать одна пара начищенных до блеска ботинок.

По выходным, правда, приходится сложно. В свободный день костюма не наденешь, а носить все время одну и ту же рубашку в клетку тоже довольно затруднительно. Это было бы разумно и правильно, поэтому всякого, кто бы так поступал, сочли бы по меньшей мере странным. Поэтому есть еще один шкаф с одеждой для выходных, каникул и прочего свободного времени. В нем всяческие цветные рубашки — однотонные, в клетку, в полоску, есть одна даже в крапинку. Лаура ее не любит, но я настаиваю на том, что это — моя любимая. Должна же у человека быть любимая рубашка, это всем нравится, и от него этого ждут. Еще в шкафу есть джинсы, вельветовые брюки, кожаные ремни, разные куртки, кроссовки, обувь для пеших походов и рыбалки, хотя я еще ни разу в жизни не был на рыбалке и совершенно не собираюсь и впредь.

По счастью, день сегодня будний, за пять минут я собран. Черный костюм, белая рубашка, красный галстук. Когда на тебе костюм, все как-то приятнее. Посмотревшись в зеркало на стене, я

киваю, и мое отражение, не медля ни секунды, кивает мне в ответ. Мир работает, как часы.

Выхожу в коридор, вижу перед собой Лауру.

— Как спалось? — спрашиваю я ее. Я задаю ей этот вопрос каждое утро, хотя смысла в нем не вижу никакого. Люди либо спят, либо не спят, но по телевизору постоянно показывают, что они еще и интересуются друг у друга тем, как они спят.

Она отступает на шаг, чтобы ничто не препятствовало ее пространному ответу.

А ведь она все так же хороша! «Ага», говорю я, кивая, и «О!». Она рассказывает мне о каком-то путешествии, о волшебнике, о клумбе роз, тысячах роз, огромном море цветов. Неужели такое и впрямь может присниться? Может, она просто выдумывает, как я выдумываю почти все, о чем говорю.

— Ты меня вообще слушаешь? — спрашивает она.

— Конечно, слушаю. Клумба роз.

Она продолжает говорить; я незаметно включаю телефон. Восьмое августа две тысячи восьмого года, в почте 2731 непрочитанное письмо. Пока я смотрю, приходят еще два.

— Тебе это что, интереснее того, о чем я говорю?

— Любимая! — быстро убираю телефон в карман. — Принцесса моя! Да это меня вообще не интересует! Продолжай.

И это правда. Я уже не первую неделю не читаю почту. Но именно потому, что это правда, она думает, что я лгу, и обиженно выпячивает губу.

— Лаура! Продолжай, прошу тебя! Умоляю!

По всей видимости, сегодня я не попадаю в нужную тональность — она морщит лоб.

— Мари нужен репетитор по математике. Найди ей преподавателя. Лакебринк говорит, что начинать занятия нужно срочно.

Что-то это для меня слишком резкие перемены. Только что были розы, теперь какой-то Лакебринк.

— Это ее учитель, да?

Морщины у нее на лбу становятся глубже.

— Лакебринк, — повторяю я. — Ах да, конечно. Тот самый Лакебринк. Тот самый.

Она отходит еще на шаг.

— Ладно, ладно. Кто это?

— Эрик, что с тобой происходит?

— Может, слетаем куда-нибудь? — выпаливаю я. — На следующих выходных, представь себе — только я и ты… — Теперь мне срочно нужно придумать какую-нибудь теплую страну. Где мы

только что побывали?

— Может, на Сицилию?

Я практически уверен, что это и была Сицилия. Ну, может, Греция. Влажно и жарко, как в пекле, невообразимо дорого, официанты — нахалы, с острых скал злобно смотрят драные кошки, но Лаура была на седьмом небе от счастья.

Она распахивает объятия, кладет голову мне на грудь, обвивает меня руками. От ее волос исходит сладкий аромат — пахнет немного шалфеем, немного лимоном, она вообще всегда приятно пахнет. Бормочет что-то в том духе, что я просто чудо, что я такой необыкновенный и щедрый; я почти ничего не слышу, потому что она зарылась лицом в мой пиджак. Глажу ее по спине.

— Это директор, — сообщает она.

— Кто?

— Господин Лакебринк — это директор школы, в которой учится Мари. Ты с ним беседовал на родительском собрании неделю назад.

Киваю так, словно мне это давно известно. Разумеется, придется найти правдоподобную причину, почему мы все-таки не сможем полететь на Сицилию. Она, конечно, так расстроится, что придется выдумать еще более неправдоподобное обещание, дабы ее умаслить, и его я,

конечно, тоже нарушу. А все из-за этого собрания, которое я даже неплохо помню: низкий потолок, пол, покрытый пластиком, яркие лампы и плакат с призывом срочно сделать какую-то прививку.

— Эрик, еще кое-что, — она гладит меня по щеке. Прикосновение напоминает мне о том, какое желание она буквально только что во мне пробуждала. — Позавчера ты сказал Мари, что самое главное — не бросаться в глаза и никогда ни у кого не вызывать зависти.

— И что?

— Она восприняла это крайне серьезно.

— Так хорошо же.

— Да, но вчера ты сказал, что никогда нельзя идти на компромиссы. Что всегда нужно бороться и стремиться быть лучше всех. И не избегать конфликтов.

— И?

— Теперь она сбита с толку.

— Почему?

— Потому что одно противоречит другому!

— На Сицилию! — восклицаю я.

Ее лицо тут же проясняется.

Мы вновь заключаем друг друга в объятия, и меня охватывает такое сильное ощущение дежавю, что голова идет кругом. Припоминаю,

что я уже стоял на этом самом месте, держа ее в объятиях, и вел точно такой же разговор — то ли это было во сне, то ли в другой жизни, то ли в этой самой, два или три дня назад. И вскоре мы вновь окажемся на этом же месте, возможно, опять всплывет этот Лакебринк, пока однажды не падет дамоклов меч, не вломится в дом полиция, и ничто уже не повторится. Я касаюсь ее лба омерзительно целомудренным поцелуем, не оборачиваясь, спешу к лестнице, бросаю «Я тебя люблю!». Ведь это правда — почему же тогда я чувствую себя так, словно только что соврал?

— И я тебя! — кричит она мне вслед; звучит фальшиво, но я знаю, что это правда.

В рассеянности я ступаю на лестницу левой ногой. Нельзя такого допускать, в этом доме следует быть особенно осторожным — не зря он с первого раза, еще во время осмотра, мне не понравился.

Главное — не вспоминать сейчас о чердаке. Надо сделать вид, будто я забыл, что он существует. Он и вовсе отвратительный — балки торчат под каким-то кошмарным углом к потолку, обои в грязно-коричневый прямоугольник, старая лампа, стекло которой покрыто пятнами, отбрасывает на половицы мерзейшую пятиконечную тень, а за маленьким столиком, который кто-

то много лет назад туда поставил, зияет щель. Хватит и двух минут, чтобы понять, что здесь кто-то умер.

В самом этом обстоятельстве ничего необычного нет. Почти в каждой комнате любого старого дома кто-нибудь когда-нибудь да отдал концы. Но на этом чердаке произошло нечто крайне жестокое. Смерть длилась долго, умирающего терзали ужасные боли. Мерещились призраки, являлись влекомые агонией черти. Но как это было объяснить Лауре? Семь с половиной миллионов. Она влюбилась в дом с первого взгляда. Облицованная мавританской плиткой терраса, пять ванных комнат, медиатека. Что я мог возразить?

И вот однажды ночью я поднялся наверх. Правду ведь говорят: стоит взглянуть страху в глаза, и он отступит, сгинет. Я выдержал почти три часа. Я, столик, тени, лампа — и кто-то еще.

Потом я бросился бежать. Вниз по лестнице, через холл, прямо в сад. На небе полумесяц в обрамлении озаренных светом облаков. Лежал в траве, наверное, час, а когда прокрался в постель, Лаура проснулась и принялась рассказывать мне свой сон, в котором были пестрая птичка, дружелюбный почтальон и локомотив. Я глядел в потолок и думал о том, что там, наверху, есть

комната, и она будет там, пока мы тут живем. И даже если мы съедем и на наше место придут другие, то она все так же будет существовать.

Распахиваю входную дверь. Бог мой, ну и жара. Машина стоит с заведенным мотором, Кнут, понурившись, сидит за рулем. Он ненавидит ждать. Не знаю, что надоумило такого человека стать водителем. Кроме того, я по-прежнему не могу взять в толк, почему его зовут Кнут. Он грек и похож на грека: щетина на лице, черные волосы, смуглая кожа. Как-то раз во время долгой поездки он рассказывал мне, откуда у него такое имя, но я не слушал, а если спросить еще раз, он обидится. Сажусь в машину. Кнут, не поздоровавшись, жмет на педаль.

Закрываю глаза. Тут же раздается гудок.

— Идиот! — вскрикивает шофер, продолжая сигналить. — Видели, шеф?

Открываю глаза. На улице ни души.

— Бросился слева! — возмущается он.

— Уму непостижимо.

— Идиот!

Ругаясь, он колотит по рулю и указывает на то самое место на дороге, а я в тысячный раз задаюсь вопросом, как бы мне от него избавиться. К сожалению, он слишком много обо мне знает,

и я уверен, что он на следующий же день примется слать анонимки моей жене, в полицию и бог знает куда еще. Единственный вариант — тихонько его устранить. Но если бы я и впрямь решил кого-нибудь убить, то он был бы первым, к кому бы я обратился за помощью — к кому же еще? Как все запутано. Достаю телефон и изучаю колебания курса. Цены на сырье упали, евро по отношению к доллару так и не выправился, а безосновательно переоцененные ценные бумаги рынка информационных технологий находятся на той же позиции, что вчера. Не могу понять.

— Жара! — восклицает Кнут. — Ну и жара, ну и жара!

Я был убежден, что их курс обвалится. Но, с другой стороны, мог бы и догадаться, что этого не произойдет — не потому, что хорошо знаю рынок, а потому, что уже привык: происходящее постоянно противоречит моим ожиданиям. Но чем мне в таком случае руководствоваться — своими знаниями или уверенностью в том, что я почти всегда оказываюсь неправ?

— Март, апрель — сплошные ливни! — не унимается Кнут. — В мае опять ливни! Одни дожди! И вот нате вам!

Потери меня больше не пугают. Если даже курс

изменится так, как я предположу, то делу это не поможет. Рост котировок меня уже не спасет. Только чудо.

Вибрирует мобильник. На экране возникает сообщение: «Ты сегодня будешь?»

«Могу в любое время», — строчу я в ответ и, уже нажимая «Отправить», думаю, какую бы изобрести отговорку, если она потребует явиться прямо сейчас. Времени-то у меня и нет: проявился Адольф Клюссен, мой самый важный клиент. Но днем она, как правило, занята, и, если она вынуждена будет сообщить, что ждет меня только к вечеру, то ее будет терзать чувство вины, а это мне на руку, этим можно воспользоваться.

Гляжу на дисплей. Дисплей отвечает мне серостью. Ответа нет.

По-прежнему нет.

Закрываю глаза и медленно считаю до десяти. Кнут о чем-то болтает, я его не слушаю. На счете «семь» я теряю терпение, открываю глаза и снова гляжу на экран.

Ответа нет.

Ну и шут бы с ним! Не нужна она мне, мне без нее даже лучше. Может, она просто хочет мне отомстить за прошлое воскресенье.

Мы встретились у входа в кинотеатр, в кото-

ром крутят старое кино, заявлен был последний фильм Орсона Уэллса, который ей непременно нужно было увидеть, меня же он не интересовал, но какая разница — другой фильм меня тоже не заинтересовал бы. В фойе пахло фритюрным жиром, темы для разговора мы исчерпали, пока стояли в кассу, а стоило нам занять свои места, как в ряду перед нами подскочил мужчина, громко выкрикнув мое имя.

С перепугу я его сразу не узнал. Только какое-то время спустя черты его лица упорядочились, рот, нос, глаза и ушли встали на свои места, и мне явился доктор Юбелькрон, муж лучшей подруги моей жены, еще не пропустивший ни одной нашей вечеринки в нашем саду.

Я заключил его в объятия с такой силой, словно вновь обрел пропавшего без вести брата. Хлопнув пару раз его по плечу, принялся сыпать вопросами: как дела у супруги, у матери, у дочери, откуда, интересно, нынче такая жара. Фильм уже начался. На нас зашикали, да и по лицу доктора Юбелькрона было видно, что уже перестал бы обниматься, но я не умолкал, задавал вопрос за вопросом и, не давая ему ответить, безжалостно тормошил его за плечо. Когда же я наконец его отпустил, он, измученный, опустился на сиденье,

даже не поинтересовавшись, кто эта женщина рядом со мной. Взглянув на часы, я выждал ровно четыре минуты, выхватил телефон, громко воскликнул «О Господи!», «Ничего себе!» и «Я уже мчусь!», вскочил на ноги и вылетел на улицу. О том, что Сибилла осталась в зале, я вспомнил, уже сидя в такси.

Снова вибрирует сотовый. «Хорошо, приезжай!» — «Когда?» Спустя три секунды ответ: «Сейчас». — «Сейчас не могу, — пишу я, — у меня важный клиент». В силу привычки мой ответ кажется мне отговоркой, хотя это чистая правда. Нажимаю «Отправить» и жду.

И ничего.

В чем дело, что это она не отвечает?! Призывая на помощь всю силу воли, прячу мобильник в карман. Мы приехали.

Как обычно, я выхожу, пока мы еще на дороге, а Кнут в одиночку отправляется на подземную парковку. Я туда спускаться не могу, просто не могу, и все. Поскорее промчаться сквозь раскаленный воздух — и вот уже распахиваются стеклянные двери, и я вхожу в холл. Лифт поднимает меня на тринадцатый этаж. Проношусь по коридорам между кубиклами; повсюду те же самые лица перед теми же самыми мониторами. Кого-то я

знаю, кого-то нет, и я радуюсь тому, что никто со мной не заговаривает — за последнее время я забыл слишком много имен.

Секретарши молча приветствуют меня. Одна — умница, другая — красавица, они ненавидят друг друга, да и меня тоже не особенно любят. С той, которая красивая, с Эльзой, я шесть или семь раз переспал — давно бы ее уволил, но ей всякий раз удается прижать меня к стенке. С другой, с Кати, переспал всего однажды, под воздействием новых препаратов, которые заставляют меня творить всякие вещи, о которых и вспоминать не хочется.

— Господин Клюссен ожидает вас, — произносит Кати.

— Отлично! — я вхожу в кабинет, усаживаюсь за стол, скрещиваю руки и медленно считаю до десяти. Только потом достаю из кармана телефон. Ответа нет. Как же она может так со мной обращаться?!

Я управляю всем капиталом Адольфа Альберта Клюссена, и я потерял все. Все выписки и сводки, которые он получал на протяжении последних двух лет, были сфабрикованы. Он стар и не слишком умен, и даже если я не смогу вернуть его сбережения, то по крайней мере я в состоянии

впечатляюще сводить баланс и изобретать прибыль, которую получил бы, если бы только умел предсказывать, как изменится ситуация на рынке. Потом разбавляю цифры всякими графиками, синими, красными, желтыми кривыми — все это укрепляет его доверие ко мне. Но любая встреча с ним таит опасность.

Я встаю и подхожу к окну. Вид из него великолепен. Трудно привыкнуть к такому простору и свету. Как всегда, когда мир подступает ко мне во всем своем великолепии, мне вспоминается Ивейн и один давнишний вечер в библиотеке отца. Нам было по двадцать два, канун Рождества, он прибыл из Оксфорда, я — из санатория.

— Рассказывай! — потребовал он.

Каких-то необыкновенных воспоминаний о минувших месяцах у меня не осталось. Все было желтоватым, цвета яичной скорлупы — стены, пол, потолок, халаты персонала. По ночам было не понять, слышишь ты голоса других пациентов или те, что роятся у тебя в голове.

— Надо подыгрывать, и все, — сказал Ивейн, — вот в чем вся суть. Врать. Тебе кажется, будто люди видят тебя насквозь, но это неправда — никто никого насквозь не видит. Людей нельзя читать, как открытые книги. Ты думаешь, будто

люди замечают, что с тобой происходит, но это не так.

— Не понимаю, о чем ты.

— Вот, это верный ответ. Наблюдай, пытайся уловить правила игры. Люди редко поступают спонтанно, обычно они действуют механически. Совершают поступки, руководствуясь привычкой. Когда выведешь правила, придерживайся их, как будто вся твоя жизнь зависит только от этого. Ведь это и в самом деле так: твоя жизнь зависит от этого.

Я разглядывал столешницу. Старая, очень старая древесина, достояние семьи. Стол принадлежал еще нашему прапрадеду, который якобы был актером. Черные разводы на свилеватой доске образовывали неповторимой красоты узор. Мне показалось странным, что я обратил на это внимание, а потом я понял, что это отметил вовсе не я, а Ивейн.

— Правда — это, конечно, хорошо, — продолжал он, — но на правде порой далеко не уедешь. Постоянно задавайся вопросом, что именно от тебя требуется. Говори то же, что и все, поступай так же, как все. Определи точно, кем хочешь быть. Спроси себя, что тот, кем ты хочешь быть, сделал бы на твоем месте. И так и поступи.

— Если бы яйцеклетка не разделилась, — промолвил я, — было бы нас не двое, а один.

— Сосредоточься!

— Но кем бы он тогда был? Мной, тобой или кем-то третьим, нам неведомым? Кем?

— Весь фокус в том, что тебе необходимо пойти на сделку с собой. В этом вся сложность. Не жди ни от кого помощи. И даже не думай пойти к психотерапевту. Там тебя могут только научить жить с собой в согласии. Находить хорошие оправдания.

Мне следовало ответить ему, что он прав, думаю я сейчас, и не следовало идти к психотерапевту. Я и сейчас хочу поговорить с ним, увидеть его, мне нужен его совет. Может, я мог бы одолжить у него денег и исчезнуть. Поддельный паспорт, рейс до Аргентины, только я один. Пока что это возможно.

Я снимаю трубку и, к сожалению, слышу, голос Эльзы, а не Кати.

— Мне необходимо поговорить с братом. Позвоните ему, попросите приехать.

— С каким именно братом?

— Ну, с каким, с каким! — я тру глаза.

Она молчит.

— Так что позвоните ему! Прямо сейчас! Ска-

жите, что это по-настоящему важно. И наконец, пригласите ко мне Клюссена.

Кладу трубку, скрещиваю руки на груди и пытаюсь сделать вид, что погружен в раздумья. Внезапно понимаю, что, проходя через приемную, Клюссена я в ней не видел. На диване никого не было. Но разве она не говорила мне, что он уже ждет? Но если он уже здесь, но не в приемной, не значит ли это, что… Я беспокойно оглядываюсь по сторонам.

— Адольф! Приветствую!

Вот он, сидит и смотрит на меня. И по-видимому, сидел здесь все это время. Улыбнувшись, я пытаюсь сделать вид, что пошутил.

Адольф Альберт Клюссен — статный седовласый мужчина лет семидесяти пяти, хорошо одетый, привыкший повелевать, загорелая кожа изборождена морщинами, кустистые брови — смотрит на меня так, словно жабу проглотил, словно за это утро умудрился потерять ключи, деньги и документы, да его еще осмеяли за рассеянность, словно его обокрали, а потом еще и расцарапали его спортивный автомобиль. Под мышками его рубашки-поло темнеют пятна пота, но в этом, вероятно, виновата жара, и не стоит придавать этому значения. Адольф Альберт

Клюссен, сын владельца торгового дома Адольфа Аримана Клюссена, внук основателя торгового дома Адольфа Адомеита Клюссена, был из семьи, в которой старших сыновей уже так долго называли Адольфами, что никто не решался прервать традицию, глядит на меня так, словно презирает весь окружающий мир. При этом он не знает, что за душой у него ни гроша.

— Адольф, как я рад тебя видеть!

Рука его на ощупь — как узловатая коряга. Надеюсь, моя ладонь не вспотела от переживаний. По крайней мере, голос я держу под контролем, он не дрожит, и взгляд у меня уверенный. Он говорит что-то о том, что я не отвечаю на письма, я восклицаю «Какой скандал!» и обещаю вышвырнуть свою секретаршу вон. Быстро раскладываю перед ним три распечатки с ничего не значащими цифрами, под которыми стоят названия самых известных компаний из числа наименее рисковых голубых фишек: «Эппл», «Беркшир Хатауэй», «Гугл» и «Мерседес-Бенц» и пестрят множественные круговые диаграммы, раскрашенные всеми цветами радуги.

Но сегодня даже это не действует. Моргнув, он откладывает листки в сторону, склоняется ко мне и сообщает мне, что надумал принять важное

решение.

— Важное решение! — Я встаю, обхожу стол и сажусь на самый край. Всегда быть чуть выше собеседника — старый трюк при ведении переговоров.

Он уже не молод, заявляет Клюссер, и потому не хочет больше рисковать.

— Рисковать? — я скрещиваю руки. — Клянусь своим отцом, мы никогда ничем не рисковали!

Скрещенные руки — хороший жест, он производит впечатление искренности. Класть руку на сердце, напротив, в корне неверно.

Уоррен Баффетт, продолжает он, советует никогда не вкладываться в то, в чем не разбираешься.

— Но ведь разбираюсь я — это моя профессия, Адольф! — поднявшись, я подхожу к окну и встаю так, чтобы ему не было видно моего лица.

Пару лет назад все шло хорошо. Инвестиции были разумны, баланс уравновешен. Потом ликвидность уменьшилась, и меня осенило, что в принципе мне ничего не мешает просто делать вид, что я на чем-то выиграл. Если обнародовать потери, инвесторы начнут выводить деньги, а если объявлять о прибыли, все остается по-старому — и можно продолжать, убытки со временем покрываются, никому это не вредит, это всего

лишь числа на бумаге. Я так и поступил, и спустя пару месяцев деньги вернулись.

Но через год я вновь оказался в такой же ситуации. В самый нелегкий момент мой второй по значимости клиент собрался выводить три миллиона. Были определенные позиции, которые я не мог закрыть, не понеся потерь, так что я объявил о ложной прибыли, привлек таким образом новых клиентов и выплатил те миллионы из их средств. Я был уверен, что курсы вскоре выровняются, и все снова встанет на свои места.

Но котировки продолжали падать. Все больше клиентов хотело изъять деньги, и если бы мне не удалось привлечь новые вложения, то все бы вскрылось. Когда курс и в самом деле стабилизировался, нехватка средств была уже слишком велика.

Но я не терял надежды. Считалось, что я делаю успехи, ко мне стремились все новые вкладчики, и я использовал их деньги, чтобы выплачивать доход старым инвесторам — по десять, двенадцать, а то и по пятнадцать процентов годовых, такие суммы, что никто уже и не задумывался о выводе капитала. Я долго верил, что неожиданно найдется выход. Но два года назад, проведя ночь за бесконечными подсчетами, понял, что этого

не произойдет.

Аргентина, Венесуэла, Эквадор, Либерия, Кот-д'Ивуар. Новый паспорт, новое имя, новая жизнь. Так и надо было сделать — Мари была бы в восторге, а Лаура смогла бы закатывать вечеринки где угодно. Да и погода где угодно лучше, чем здесь.

Но я упустил свой шанс. Слишком долго тянул, никак не мог решиться. Чтобы исчезнуть без хлопот, нужно много денег. У меня же не осталось ничего. Все накопления испарились, кредитный лимит был исчерпан.

— Ты знаком с Бхагавадгитой? — спрашиваю я.

Клюссер уставился на меня в недоумении. Чего-чего, а такого поворота он не ожидал.

— Бог Кришна говорит воителю Арджуне: «Ты никогда не сможешь понять, почему все так, как оно есть. Не сможешь распутать клубок событий. Но вот ты стоишь предо мной, великий воин. Так что не задавай вопросов, вставай и борись».

Слышал как-то по авторадио. Цитата мне так понравилась, что я поручил Эльзе ее найти.

— Где же я вам ее найду? — спросила она.

— В Бхагавадгите!

— И как же мне ее там найти?

— Прочитать.

— Что, всю?

— Нет, только до тех пор, пока не встретится эта цитата.

— А если она в самом конце?

Так она ничего и не нашла, поэтому приходится цитировать по памяти. Уж Клюссен-то проверять не станет.

Он молчит. Ну, как бы то ни было, произносит он затем, он хотел бы диверсифицировать вложения.

— Адольф! — Я хлопаю его по плечу с такой силой, что старик весь шатается. На секунду теряю нить: наверное, дело в его бровях. Если у твоего собеседника такие бровищи, то и смутиться недолго. — Вместе мы неплохо заработали. И заработаем еще. Цены на недвижимость растут и растут! Кто решит сейчас выйти из игры, потом будет жалеть.

Как бы то ни было, повторяет он, потирая плечо, он, его жена и сын посоветовались и решили по-новому распределить активы. Сын полагает, что вся система движется к коллапсу. Что все в долгах. Капитал обесценился, и ничем хорошим это кончиться не может.

— Распределить активы? Да ты ведь даже не знаешь, *что это значит!* — Нет, тут я зашел слишком далеко. — То есть я хочу сказать, ты,

конечно, знаешь, но мне кажется, ты говоришь чужими словами. Это на тебя не похоже, это не тот Адольф, которого я знаю.

Сын, продолжает он, только что окончил программу делового администрирования, и он…

— Адольф! Ты же знаешь, университет — это одно, а реальная жизнь…

Что вообще творится? Кто этого сына звал? Немного помолчав, я делаю глубокий вдох и произношу длинную речь. Суть не в том, что именно я говорю, Клюссер все равно мало чего поймет и еще меньше запомнит. Суть в том, что я просто говорю, и говорю без запинки, не делая пауз, в том, что он, слыша мой голос, почувствует, что имеет дело с человеком более могущественным, чем он, с интеллектом такого уровня, которого ему не достигнуть.

Скоро придется вот так же держать ответ перед судом. Адвокат посоветует не делать заявлений, все они советуют одно и то же. Боятся, что подзащитный запутается в показаниях, не верят, что он справится с гособвинением, полагают, что он будет недостаточно убедителен. Вероятно, поэтому придется отказаться от услуг своего адвоката, что посреди процесса, конечно, произведет жуткое впечатление. Может, будет лучше с самого нача-

ла защищаться самому. Но тех, кто отказывается от адвоката, считают глупцами; уважающий себя обвиняемый должен располагать дорогостоящим защитником, помпезным, моментально узурпирующим все пространство. Без этого никак. Но лишить себя права высказаться я не позволю.

— По какому поводу? — спрашивает Клюссен.

— Прошу прощения?

— Где ты собираешься высказываться?

Он смотрит на меня, я — на него. Не может быть, чтобы я сказал это вслух, наверное, тут какая-то ошибка. Поэтому я отмахиваюсь и продолжаю свой монолог о производных и производных второго порядка, о недооцененных фондах недвижимости, об управлении рисками и статистическом арбитраже. Цитирую отраслевой журнал «Эконометрика», хотя за всю жизнь купил один-единственный номер, упоминаю теорию игр и равновесие Нэша, не забывая также намекнуть на связи с людьми, занимающими ключевые позиции, которые снабжают меня инсайдерской информацией — что почти незаконно, но чрезвычайно выгодно.

Наконец я умолкаю. Надо дать собеседнику возможность опомниться, прийти в себя и осознать, что он проиграл. Я складываю руки на груди,

наклоняюсь к нему и заглядываю прямо в глаза. Он достает носовой платок и долго сморкается.

— По рукам, Адольф? — я протягиваю ему ладонь. — Сказано — сделано, будем продолжать вместе. Так?

Клюссен в ответ сообщает, что пребывает в некоторой растерянности.

— По рукам!

В растерянности, повторяет он.

Левой рукой я хватаю его за правую и пытаюсь притянуть его ладонь к своей. Он сопротивляется. Я тяну, он продолжает сопротивляться — надо же, какой он, оказывается, сильный.

Говорит, что ему необходимо подумать. Он поговорит с сыном и напишет мне.

— Разумеется, думай! — севшим голосом восклицаю я. — Сколько хочешь! Подумать — это всегда важно.

Мы наконец пожимаем друг другу руки, но не в знак скрепления наших деловых отношений, а на прощание. Я так сильно сжимаю его ладонь, что загар сходит с его морщинистого лица, уступая место бледности. Я знаю, что проиграл. Он потребует свои деньги назад. И он знает, что я это знаю. Не знает же он того, что его денег у меня больше нет.

В голове у меня мелькает мысль: а что, если по-быстрому его убрать? Я мог бы задушить его или ударить чем-нибудь тяжелым по голове. Ну а потом? Куда я дену труп? Кроме того, не исключено, что и в этой комнате установлена камера. Я устало опускаюсь в кресло и закрываю лицо руками.

Когда я встаю, Клюссена уже нет. Вместо него в комнате появился высокий мужчина. Прислонившись к стене, он смотрит на меня. Я закрываю глаза и снова открываю. Он по-прежнему здесь. У него ужасная щель между зубами.

Ничего хорошего это не предвещает, думаю я.

— Нет, — произносит тот. — Ничегошеньки!

Прикрываю глаза.

— Не поможет, — сообщает мужчина.

И правда, я его по-прежнему вижу.

— Не вмешивайся, — говорит он. — Просто пройди мимо. Когда увидишь их, не вмешивайся. Оставь все как есть. Не заговаривай с этой троицей, просто пройди мимо, и все.

У меня идет кругом голова. Не вмешиваться? Пройти мимо? Некогда сейчас разбираться, о чем он, надо заняться Клюссеном. На пару-тройку недель я, вероятно, смогу это отсрочить, втяну его в мудреную переписку, буду недоступен, стану

осложнять дело бесконечными возражениями и вопросами. В какой-то момент он подаст на меня в суд, следствие возбудит дело, но время я выгадаю, а до тех пор смогу жить в своем доме и по утрам ездить на работу. Наступит осень, полетят листья, и если мне немного повезет, то до первого снега меня не арестуют.

Мужчина исчез. Я прикрываю ладонью глаза. За окном так палит солнце, что тонированное стекло, кажется, уже не помогает. Снимаю трубку и прошу Эльзу принести мне стакан воды. Вот и он. Пью. Поставив стакан на стол, вижу знакомого священника. Он еще прибавил в весе с того дня, как мы виделись в последний раз. Когда это мой брат успел войти? И кто так быстро подал мне стакан, который я держу в руке?

— Могу я тебе чем-нибудь помочь? — осторожно интересуюсь я. Вполне возможно, что он — всего лишь плод моего воображения. Осрамиться нельзя.

Он увиливает от ответа, что-то бормочет и конкретизировать, судя по всему, совершенно не собирается.

Я беру лист бумаги и делаю вид, что читаю. Руки дрожат. Дело Клюссена меня не отпускает.

Он о чем-то меня спрашивает.

Нет, стало быть, он мне не мерещится, призраки вопросов не задают. Но его черная сутана смущает меня, в голову лезут мысли об экзорцизме. Он что-то говорит о каком-то кубике, я было подумал, что речь о рулетке, потом выясняется, что это он про свое хобби, и только чтобы не выслушивать дальше всю эту чепуху, я спрашиваю, не желает ли он пообедать, встаю, выхожу из кабинета. Останавливаюсь у стола Эльзы, вдыхаю аромат ее духов, заставляю себя не распускать рук и спрашиваю, что, черт побери, делает здесь мой брат.

Так в этом же и состояло мое распоряжение, сообщает мне она. Позвонить брату! И попросить его как можно скорее приехать. Я же сам ее попросил.

— Ах, вот оно что, — отвечаю я. — Ясно. Да-да, разумеется. Знаю, знаю.

Понятия не имею, о чем она. С какой стати мне давать такие распоряжения?

Спешу к лифту. В кармане вибрирует телефон. Достаю его. «Ну так ты будешь или нет?»

«Прямо сейчас?» — набираю я в ответ. Жду. Брата все нет. Почему все такие неповоротливые? Эта жалкая, отравляющая жизнь медлительность! И почему она опять не отвечает?

Вот и он. Двери лифта открываются, мы входим в кабину, мне опять вспоминается «Экзорцист». Не стоит недооценивать священников. Спрашиваю его, как там это все с гороскопами. Мне всегда хотелось выяснить, подтверждается это все какой-нибудь статистикой или нет. Всего-то нужно взять сотню человек, скончавшихся в один и тот же день, и посмотреть, есть ли существенные сходства в их гороскопах или нет! Почему никто этим не займется?

Он тупо пялится на меня. Наверное, я чем-то его задел. Превращать вино в кровь — это пожалуйста, а вот гороскопы — это почему-то ниже его. Вынимаю телефон. Ответа по-прежнему нет. Тем временем мы оказываемся внизу.

Мы пересекаем холл, отворяются стеклянные двери — Боже милосердный, ну и жарища. Вибрирует сотовый. «В пять сможешь?»

«Ну почему не сейчас???» — отвечаю я. Рядом сигналит автомобиль, я обнаруживаю, что стою посреди улицы. Вот он, ресторан, через дорогу, я каждый день хожу туда обедать. Кошмарное заведение, официанты чересчур заносчивы, еда невкусная. Но какая разница? Есть мне все равно хочется редко, голод заглушают таблетки.

Официант отодвигает столик, чтобы мой пол-

нотелый братец мог протиснуться на скамейку. Заказываю на нас с ним то же, что беру всегда, — спагетти с моллюсками. Не люблю ракушки, но это блюдо подобает мне по статусу: не слишком большая порция, не слишком тяжелое, достаточно сытное, достаточно дорогое.

Вибрирует телефон. «Хорошо, давай сейчас».

Мартин что-то спрашивает о состоянии экономики и прогнозах, я ему что-то отвечаю. Зачем мы здесь сидим, чего он от меня хочет? «Сейчас не могу», — отвечаю. Как она вообще представляет себе мою жизнь — что, думает, я могу в любой момент все бросить и помчаться к ней, только потому что ей одной скучно? Добавляю: «Давай ближе к вечеру, ОК?»

Жду. Нет ответа. Брат что-то спрашивает, отвечаю ему, не слыша себя. Гляжу на телефон, откладываю его в сторону, снова беру, снова откладываю, опять беру — почему она мне не отвечает?!

— Если ты посылаешь кому-то сообщение, — говорю я, — он тебе отвечает, ты отвечаешь ему и просишь ответить поскорее, а ответа все нет и нет, то ты будешь исходить из того, что твое сообщение не дошло — или из того, что она просто не хочет тебе отвечать?

— Так он или она?

— Что?

Брат глядит на меня хитрым взглядом.

— Ты сначала сказал «он», а потом «она».

Что за чушь? Я прекрасно знаю, что только что сказал. Хочет поймать меня на слове? Крайне неуклюжая попытка.

— И что?

— Ничего, — лукаво отвечает он.

Что он пытается у меня выведать, как ему вообще удалось заставить меня говорить с ним о личном? Ох уж эти священники, вот ловкачи!

— Что ты хочешь у меня вызнать?

— Да ничего!

На губах у него соус. Теперь между нами громоздятся тарелки, моя не тронута, его почти пуста. Когда их успели принести?

— Не имеет никакого значения, о чем было сообщение, — говорю я. — Это не важно.

Он что-то бормочет, оправдывается.

— Возможно, это отпечаток твоей профессии. Может, поэтому ты такой любопытный.

Вибрирует сотовый. «Ну тогда давай попозже».

«Когда?» — пишу я и в тысячный, наверное, раз задаюсь вопросом, через сколько серверов это сообщение проходит, сколько посторонних

глаз могут его прочитать. Любой мог бы меня шантажировать. Почему она заставляет меня так неосторожно себя вести?!

— Вы еще практикуете экзорцизм? Изгнание дьявола. Вы этим все еще занимаетесь? Хватает вам людей?

Он тупо пялится на меня.

— Что там говорит классическое учение? Нужно ли впускать дьявола, если он пришел? Нужно ли ему специальное приглашение или он просто может подчинить себе, кого пожелает?

— Зачем тебе это знать?

Вечно он отвечает вопросом на вопрос. Почему просто не ответить человеку о том, о чем тот спрашивает? Мне что, так ему и сказать, что я боюсь привидений, да, до сих пор боюсь, каждый день?

— Книга, просто книга. Прочел я тут одну книгу. Довольно странную. Ну, не важно.

Вибрирует сотовый. «Я уже все забронировала, билеты и гостиницу, улетаем в субботу рано утром, возвращаемся в ночь на понедельник — жду не дождусь;-)»

Я не сразу понимаю, что это от Лауры. С каких пор она сама бронирует рейсы?

«Отлично!» — стучу я в ответ. Да, оправдание мне понадобится очень веское.

Как только я отправляю смс, снова начинается вибрация. «Как дела? Позвони, как будет время! Мартин»

Хорошо, хорошо. Спокойствие. Только спокойствие. Я поднимаю глаза. Вот он, сидит передо мной. Мартин. Мой брат Мартин. Смотрю на дисплей — сообщение все еще там. Смотрю ему в глаза. Опять смотрю на дисплей. Может, это все-таки плод моего воображения? Неужто я сижу тут один? Но моя тарелка все еще полна, а его — пуста, и это наводит на мысль, что он все-таки здесь.

Хотя почему это должно наводить меня на такие мысли? Уже не помню, мысль куда-то улетучилась. Если я вижу воображаемого брата, то почему не могу видеть воображаемой пустой тарелки? Без паники. Главное — сохранять спокойствие. Я осторожно удаляю смс, стараясь не задеть никакой ненужной кнопки. Откладываю телефон и, чтобы как-то поддержать беседу, говорю:

— Какая жара!

Он спрашивает, как дела у Лауры и Мари, я отвечаю. Рассказываю, что у матери теперь своя телепередача. Спрашиваю, как поживает его мать. По всей видимости, он так и торчит у нее,

вот бедняга, это же невыносимо. При этом его мать мне нравится, уж по крайней мере больше, чем моя собственная. Только я собираюсь спросить его, действительно ли есть необходимость так часто к ней заходить и нельзя ли с этим что-нибудь поделать, как кто-то хлопает меня по плечу. Лотар Ремлинг. Телефон вибрирует, но посмотреть, что пришло, я не могу — мы хлопаем друг друга по спине, я легонько стукаю его по предплечью, футбол, то-се. Он плетется прочь. Ненавижу его, он едва не завалил мне сделку с Остерманом года два назад. Могу наконец взглянуть на телефон. Три сообщения:

«Я этого больше не выдержу».

«Хочешь, приезжай сейчас, хочешь — потом, мне без разницы».

«Приезжай сейчас или вообще не приезжай».

Я вскакиваю, говорю что-то о том, что мне срочно надо на встречу, бросаюсь бежать.

На улице, кажется, стало еще жарче. Идти недалеко, она живет всего в десяти домах отсюда. Но я быстро понимаю, что сегодня было бы лучше поехать на машине.

Останавливаюсь, достаю из кармана телефон. Один гудок, другой, третий. Четвертый. Она что, уже трубку не берет, когда я звоню? Уже до этого

дошло?

— Эрик, в чем дело? — раздается голос Сибиллы.

— Нам надо увидеться!

— Я же тебе ответила: хочешь — приезжай.

— Но я сейчас не могу!

Мне показалось, что она повесила трубку. Но она еще тут.

— Эрик, это просто невыносимо. Сначала твое поведение в кино, теперь это…

— Не говори об этом! Не по телефону.

— Но…

— Знаешь, сколько людей может нас подслушивать?

— Но ты же *сам* мне позвонил!

— Сказать, что нам надо увидеться.

— Я тебе ответила: приезжай.

— Но я сейчас не могу!

— Не можешь — не приезжай.

Голова кругом. Она что, правда сказала «Не приезжай!»?

— Ты дома?

В ответ молчание.

— Почему ты молчишь?

Я вслушиваюсь и лишь какое-то время спустя понимаю, что она повесила трубку.

Мне надо присесть. Рядом с дорогой есть спортивная площадка, забетонированная, огороженная проволокой, рядом с ней есть скамья.

Какое-то время я сижу, закрыв глаза. Слышу уличный шум: рев моторов, визг клаксонов, перфоратор. Припекает солнце. Пульс выравнивается.

Когда я открываю глаза, рядом со мной оказываются двое детей. Мальчик в бейсболке и девочка с длинными черными волосами, схваченными синей лентой. Ей на вид лет шесть, ему — десять.

— Ты что здесь делаешь? — спрашивает он меня.

— Сижу, — отвечаю я. — А ты?

— Тоже сижу.

Мы поворачиваемся к девочке.

— Я тоже, — говорит она.

— Вы тут живете? — спрашиваю я у них.

— Нет, мы живем далеко отсюда, — говорит она. — А ты?

— Я тоже — очень, очень далеко.

— Сколько тебе лет? — спрашивает мальчик.

— Тридцать семь.

— Тогда ты очень, очень старый, — произносит девочка.

— Старый, — соглашаюсь я. — Это правда.

— Ты скоро умрешь?

— Нет!

— Но ты ведь когда-нибудь умрешь.

— Да нет же!

Некоторое время мы молчим.

— Вы пришли поиграть?

— Да, но тут слишком жарко, — отвечает мальчик.

— В такую жару вообще ничего не хочется делать, — добавляет девочка.

— А у тебя дети есть? — спрашивает мальчик.

— Да, у меня есть дочь. Ей примерно столько же, сколько тебе.

— Она тоже здесь?

— Нет, она в школе. А вы почему не в школе?

— Потому что мы прогульщики, — отвечает девочка.

— Прогуливать нехорошо, — говорю я.

— Почему нехорошо?

Тут я задумываюсь. Как ни стараюсь, никакого основания придумать не могу.

— Ну, потому что нельзя, — неуверенно отвечаю я. — Надо учиться.

— Многому нас там не научат, — говорит она.

— Если один день пропустить, то ничего не потеряешь, — поддакивает он.

— Значит, завтра вы все-таки в школу пойдете?

— Может быть, — говорит он.

— Пойдем, — добавляет она.

— Может быть, — повторяет он.

— Как вас зовут?

— Нельзя говорить чужим, как нас зовут, — качает головой девочка.

— Мне казалось, с чужими вообще нельзя разговаривать!

— Нет, разговаривать можно. А говорить, как нас зовут, нельзя.

— Странно, — отвечаю я.

— Да, странно, — соглашается мальчик.

— Это твоя сестра? — спрашиваю его.

— Он мой брат, — отвечает она.

— Вы в одной школе учитесь?

Вопросительно взглянув друг на друга, оба молчат; мальчик пожимает плечами.

Я знаю, что мне надо спешить, сначала к Сибилле, потом на собрание, но вместо того, чтобы встать, снова закрываю глаза.

— Ты когда-нибудь летал на самолете?

— Летал, а что?

— Почему он летает?

— Потому что у него есть крылья.

— Но ведь самолет такой тяжелый! Как же он летает?

— Из-за подъемной силы.

— Какой силы?

— Не знаю.

— Не знаешь?

— Нет.

— Но ты ведь учился в школе!

— Да.

— Почему же самолет летает?

Темнота, в которую меня погружают закрытые веки, пронизана солнечным светом. Ярким, оранжевым светом, в котором плавают желтые круги, из стороны в сторону, то поднимаясь, то опускаясь. Даже звуки перфоратора вдруг кажутся мне мирными и спокойными.

— Не лезь к этой троице, — вдруг говорит мальчик. — Не вмешивайся, просто пройди мимо.

— Что? — распахнув глаза, я жмурюсь от солнца. — Что ты сказал?

— Я сказал, нам надо идти.

— Мне тоже, — я быстро вскакиваю.

— Йози, — говорит мальчик. — Меня зовут Йози. А это Элла.

— А тебя как зовут? — спрашивает девочка.

— Ганс. — Очень трогательно, что они все-таки

решили сообщить мне, как их зовут, но это вовсе не повод терять бдительность.

— Пока, Ганс!

Удаляясь, я чувствую себя так легко, что буквально парю над землей. Может, все дело в солнце, а может, в том, что я голоден. Надо было все-таки съесть спагетти. Чтобы не грохнуться в обморок, притормаживаю у киоска.

Ждать своей очереди приходится долго. Передо мной трое подростков спорят с продавцом. На одном — футболка с надписью «MorningTower»[3], на другом — «bubbletea is not a drink I like», на майке третьего полыхает огненно-красная буква «Y». «Да вы с ума сошли, — говорит один из них продавцу. — Полная фигня!» На это продавец советует им проваливать, в ответ один говорит ему, чтобы сам проваливал; нет, это вы проваливайте, отвечает продавец, да нет, сам отсюда проваливай, говорит другой, и так продолжается некоторое время. Я уже решил отправляться восвояси, но в конце концов троица идет своей дорогой и исчезает в ближайшей дыре подземки; я наконец могу купить себе хот-дог. Он очень даже недурен. Звонит телефон. Это Ивейн. Не

**[3] Примечания: 3**
Утренняя башня (*англ.*).

зная, что и думать, снимаю трубку.

— Я тут подумал: позвоню-ка тебе, — говорит брат.

— А что такое?

— Не знаю, просто какое-то странное чувство. С тобой все в порядке?

— Разумеется.

— А откуда у меня тогда такое чувство?

— Может, потому, что я собирался с тобой сегодня… Ах, вот оно что! — тут мне все становится ясно. От неожиданности я застываю на месте. Гудят автомобили, что-то кричит мне полицейский: я снова встал посреди улицы, сам того не заметив.

— Что смешного?

— Представь себе, я попросил секретаршу тебе позвонить, а она… Она позвонила Мартину!

— Мартину?

— Ну, мы сходили пообедать. Я еще все время спрашивал себя, что он тут делает.

— Как вообще дела?

— Хорошо. Как обычно. Что в мире искусства?

— Приходится следить за тем, что происходит за стенами аукционных домов. Нельзя терять контроль над ценами. Кроме того…

— Говорил в последнее время с матерью?

— Да, точно! Надо бы ей позвонить. Она оставила мне три сообщения на автоответчике. Но с тобой что-то не так. Я это чувствую. Можешь отговариваться, но…

— Прости, мне пора!

— Эрик, ты можешь обо всем мне…

— Все в порядке, правда, просто пора!

— Почему тогда…

Сбрасываю вызов. Странные они, эти разговоры с Ивейном — словно с самим собой говоришь, и мне вдруг снова становится ясно, почему я его избегаю. Потому что мне трудно от него что-то скрывать, он видит меня насквозь, как я вижу его. При этом он не должен знать, как плохи мои финансовые дела и как плохи дела личные. Для меня это обернулось бы позором, признанием величайшего поражения, к тому же я не уверен, что он сохранит это в тайне. Есть старинная мудрость: тайна остается тайной лишь тогда, когда о ней не знает никто, кроме тебя одного. Если придерживаться этого правила, то хранить секреты не так сложно, как может показаться. Даже если знаешь другого человека, как себя самого, прочесть его мысли ты все равно не сможешь. Я не могу просить у Ивейна денег. Не могу просить его помочь мне исчезнуть. Он слишком правильный,

ему этого не понять.

Как бы мне хотелось, чтобы он все-таки был традиционной ориентации. Когда я узнал, я неделями сходил с ума. Мы с ним так похожи — что это говорит обо мне самом, что это значит? Ничего. Да, я знаю, это не значит ничего, ничего, ровным счетом ничего, но простить его не могу.

Шлю сообщение Кнуту — адрес и указание выезжать немедленно. Открываю дверь дома, где живет Сибилла, поднимаюсь на второй, третий, четвертый этаж, останавливаюсь у двери и хочу сперва перевести дух, но не могу ждать и громко стучу. Мог бы, конечно, и позвонить, но после того, как она так меня отчехвостила, нужно подавать себя повнушительнее.

Она открывает дверь. Не могу не отметить, до чего она хорошо выглядит — не так красива, как Лаура, но нечто в ее облике делает его более волнующим: длинные волосы, тонкая шейка, не прикрытые рукавами руки, на которых позвякивают пестрые браслеты. Она была моим психологом, но полгода назад перестала меня принимать, сославшись на то, что это противоречит профессиональной этике. Не страшно: терапия все равно смысла не имела, я врал на каждом шагу.

— Что, неужели звонок сломан?

Я прохожу в коридор, оттуда в гостиную. Перевожу дух, хочу что-то сказать, но не нахожу слов.

— Бедняжка. Иди ко мне.

Я сжимаю кулаки, делаю вдох, раскрываю рот — и ничего.

— Бедняжка, — повторяет она, и вот мы уже на ковре. Я хочу возразить, хочу призвать к порядку, ведь умение призвать себя к порядку — это самое важное человеческое качество, но бесполезно: я вдруг понимаю, что совершенно не желаю призывать к порядку, а желаю именно этого, того, что происходит сейчас между нами, в порядке ли, в беспорядке, в непорядке — ну а почему нет, иначе можно прожить жизнь и остаться ни с чем.

— Но…

— Все хорошо, — шепчет она мне в ухо. — Все хорошо.

Жарко. Кондиционера у нее нет — считает, что от него простужаются. Мне кажется, будто я встаю, отступаю на шаг и гляжу на происходящее со стороны. Несколько странно, скорее даже смешно, чем стыдно. И я задаюсь вопросом — а все те люди, что так любят твердить о человеческом достоинстве, смотрели когда-нибудь на это занятие трезвым взглядом? Но при этом я

лежу на ковре и чувствую, что вот-вот настанет тот миг, когда я уже не буду ощущать никакой раздвоенности, снова стану един с самим собой, и мысль о том, что, если в этой комнате спрятана камера, то я подставляюсь под шантаж, приходит мне в голову лишь на долю секунды, как и образ Лауры, которую я снова обманываю, с которой снова поступаю несправедливо, в который раз придумывая какую-то ложь, но через мгновение исчезает и он, и я знаю только, что каждый должен поступать, как ему нужно, чтобы спастись, и все наконец становится тем, что есть на самом деле, и ничем иным, и все наконец хорошо.

Мы лежим на спине, ее голова на моей груди. Никуда не хочется идти, ничто меня не тревожит. Но это ненадолго.

— Как у нее дела? — спрашивает Сибилла.

Мне требуется некоторое время, чтобы понять, о чем она говорит. Покачав в задумчивости головой, провожу рукой по ее шелковистым волосам. Вот уже вновь подступает то, что меня так душит.

— Может, я могла бы ей помочь?

Убираю руку.

— В смысле, я могла бы порекомендовать коллегу, к которому ей было бы хорошо обратиться.

Для сопроводительной терапии. Когда ей станет получше, мы все сможем жить, как жили. Она — своей жизнью, мы с тобой — своей.

Поначалу, рассказывая ей эту историю, одну из множества выдумок, я вовсе не преследовал никакой конкретной цели. Но потом она не раз меня выручала. Нельзя бросить жену, если у нее рак. Никто не может этого требовать. И порой мне кажется, будто все так и есть — будто где-то в параллельной вселенной события разворачиваются именно так, как я ей описываю. Вот была бы тема для обсуждения с психологом, но Сибилла больше не хочет мной заниматься, а искать кого-то другого не хочу я — у меня и так хватает проблем.

— Мне скоро уходить, — говорю я.

До чего же странно — весь день только о ней и думаю, а стоит оказаться у нее, как тут же хочется исчезнуть. Я мягко высвобождаюсь из ее объятий, встаю и тянусь за разбросанной одеждой.

— Вечно ты куда-то спешишь, — грустно улыбается она. — Бросаешь меня в кинотеатре, потом шлешь всякие странные сообщения! Мой терапевт спросил, почему я так с собой поступаю. Зачем все это? Потому что ты привлекателен? Я ответила, что не так уж ты и хорош, но он попро-

сил показать фото, и отвертеться не удалось. Или из-за этого вот? — с этими словами она указала на ковер. — Да, с этим все хорошо, даже очень хорошо, но дело еще и в переносе. Психолог считает, что у меня проявляются реакции, автоматически возбуждаемые сочетанием регрессии и агрессии. И что прикажете делать?

Я откашливаюсь, издаю какой-то звук, который можно принять за выражение согласия, просовываю ноги в штанины, застегиваю рубашку, не глядя в зеркало, повязываю галстук и стараюсь сделать вид, будто понимаю, о чем она говорит, — похоже, мне удается.

— Не переживай, — говорит она. — Ты справишься. Ты сильнее, чем тебе кажется.

— Знаю.

Она улыбается, словно только что отпустила двусмысленную шутку, я улыбаюсь в ответ и выхожу из комнаты. Сбегаю вниз по лестнице и спешу на улицу. Через дорогу какие-то офисы. Из дома выбираюсь через задний ход, вбегаю в деловой центр, забегаю в лифт, поднимаюсь на второй этаж, встаю в очередь в «Старбаксе», беру капучино на соевом молоке со взбитой пенкой, чтобы у Кнута не возникло сомнений в том, что я вышел именно из этого здания, а не из какого-то

другого. Спускаюсь, выхожу с нужной стороны, сразу вижу Кнута.

Он повздорил с дворником, и, похоже, дело идет к драке. Тот уже замахивается метлой, Кнут сжимает кулаки, оба изрыгают потоки ругательств. Сегодня все раздражены; это из-за жары. Заинтересовавшись, прислушиваюсь.

— Ах ты свинья! — орет Кнут.

— На себя посмотри, собака! — не отстает дворник.

— Рот свой грязный заткни!

— Скотина помойная!

— Сам скотина! Свинья, свинья, вот ты кто!

Наблюдать приятно, но времени нет. Я делаю глоток кофе, ставлю стакан на землю и направляюсь к своему водителю.

— Мерзкая, старая, жирная свинья! — не унимается тот. — Скотина дерьмовая! Фашист!

Подталкиваю его к дверце автомобиля, сам сажусь сзади.

Блаженная прохлада. Кнут, бормоча под нос проклятия, трогается с места. Чувствую, как вибрирует телефон. Вижу, кто звонит, и, скрепя сердце, снимаю трубку.

— Мама?

— Молчи и слушай. Я…

— Как твоя карьера?

— На взлете. Клиенты так и ломятся, все из-за этой передачи. Я…

— Да, передача просто отличная! Мы ни одного выпуска не пропускаем!

На самом деле я одолел всего один.

— Я всего-навсего офтальмолог. В других болезнях я не разбираюсь! Все, что я могу им посоветовать, — это обратиться к их лечащему врачу.

— Мне так не показалось.

— Я хотела бы предложить тебе одну инвестицию.

— Одну… Слушаю.

— Речь об участке. Соседнем с моим… С нашим домом. Его хотят продать под застройку, уже есть один клиент. Надо его опередить. Стройка нам весь вид испортит.

— В самом деле?

— Это было бы хорошее вложение.

— Затрудняюсь сказать.

— Что значит — затрудняешься?

Пытаюсь воскресить в памяти то, что еще несколько минут назад происходило на ковре. Дыхание Сибиллы у меня над ухом, ее тело под моими ладонями, ее волосы, ее запах. Не помогает. Чтобы помогло, мне нужно было бы сию

секунду снова оказаться там, на ковре, обнаженным, и, наверное, даже этого было бы мало.

— Почему ты молчишь? — спрашивает мать. — С тобой даже поговорить нормально нельзя!

— Ничего не слышу! — кричу я в трубку. — Связь плохая!

— Я тебя отлично слышу.

— Что-что? — переспрашиваю я, жму «отбой» и говорю, обращаясь уже к Кнуту:

— Связь отвратительная! Поговорить нормально нельзя.

— Да засадить их всех надо!

— Засадить? Почему?

— Взяточники!

— Кто?

— Да все! Всех засадить, говорю. Один другого хуже!

Снова вибрирует сотовый. Собираюсь снова сбросить, но все-таки передумываю.

— Сейчас лучше? — спрашивает мать. — Поговорить нормально нельзя.

— Со связью было все в порядке. Это я бросил трубку.

— Не ври.

— Я и не вру.

— Ты бы не смог просто взять и бросить трубку,

разговаривая с матерью. Просто не смог бы.

— Купи участок сама, что тебе мешает? Денег у тебя благодаря этой передаче достаточно.

— Но это было бы хорошим вложением.

— Да с какой стати? Ты же говоришь, на нем даже *строить* ничего нельзя!

— Ты что, хочешь лишить меня вида из окна? Что ты собрался строить?

— Ничего я не собираюсь строить! Я и участок покупать не собирался!

— Не смей на меня кричать! Если мать тебя просит…

Я кладу трубку. Проходит пара секунд, снова звонок. Не отвечаю. Поглядев на телефон и какое-то время подумав, тру глаза, перезваниваю.

— Ты бросил трубку! — говорит она. — Не вздумай врать, меня не проведешь!

— Я и не думал врать.

— Ни за что не поверю!

— Ах вот как.

— Никогда больше не смей этого делать!

— Что хочу, то и делаю. Я взрослый человек.

Она насмешливо хмыкает. Дрожащей рукой нажимаю «отбой».

Жду, но мать больше не перезванивает. Выключаю телефон, чтобы перестраховаться. Вдруг с

изумлением припоминаю, что недавно Сибилла сказала о моей матери совершенно правильную вещь — что еще более удивительно, если учесть, что она ничего о ней не знает. По всей видимости, замечание было настолько точным, что я тут же вытеснил его содержание из памяти, и в ней остался лишь сам факт — что оно пришлось очень кстати.

Кнут начинает рассказывать историю, в которой фигурируют морской офицер, старая обезьяна, садовник-таец, какая-то лейка, самолет и, если я не ослышался, специалист по нумизматике. Я то и дело киваю, убеждаясь в том, что, даже если бы слушал внимательно, то все равно не уловил бы никакого смысла. Мы подъезжаем, на часах десять минут пятого. Совещание уже идет.

Я выхожу из машины, пройдя по жаре, оказываюсь в прохладе холла, захожу в лифт. Может, они все-таки решили меня подождать, кто знает.

Кабина трогается. Останавливается на четвертом этаже. Никто не входит, а поскольку в лифте я один, то и не выходит. Стоит дверям захлопнуться, как мои ноги подкашиваются, и я ударяюсь головой об стену.

Какие-то звуки. Вокруг темнота. Звуки — это

чьи-то всхлипы. Приподнимаюсь. Постепенно начинаю различать обстановку. Ощупываю голову: крови нет. Вижу перед собой зеленые ворсинки грязного ковра. Это я всхлипываю. Не знаю, что случилось, но понимаю, что произошло что-то страшное. Что-то, чего не должно было случиться. Чего уже нельзя изменить.

Встаю на ноги. Шатаюсь не только я, но и кабина. Восьмой этаж, девятый, десятый. Такого со мной еще не бывало. Смахнув с лица слезы, гляжу на часы. Четыре часа четырнадцать минут. Запомни этот день, говорю я себе: восьмое августа две тысячи восьмого года, четыре часа четырнадцать минут. Что именно случилось, ты еще успеешь узнать. Лифт останавливается, открываются двери. В последнюю секунду, пока они не закрылись, успеваю выскочить наружу.

Мне приходится еще немного постоять у стенки, потом я направляюсь в офис, еще не вполне придя в себя. Все кажется каким-то другим — столы, лица, предметы. Войдя в зал заседаний, бормочу извинения — разумеется, начали без меня. Снимаю пиджак, вешаю его на спинку незанятого стула, сажусь, делаю вид, будто все в порядке — похоже, мне это удается. В этом я спец.

Вид моих сотрудников удручает меня сильнее, чем когда бы то ни было. Унылая посредственность, и ничего больше. Может, все дело в том, что я принимаю на работу исключительно посредственных людей. Меньше всего мне нужно, чтобы кто-нибудь мог видеть меня насквозь. Вот Леман и Шрётер, и Келлинг, чью дочь я крестил, и Пёльке, которого я уволил бы, появись у меня хоть малейший повод, — не люблю его, и все. Вот Мария Гудшмид, рядом с ней кто-то, все время забываю, как его зовут. И Фельзнер. Он мне как раз нравится, но почему — тоже не могу сказать. Когда я вошел, Леман о чем-то докладывал, но теперь все умолкли, глядят на меня и ждут.

Делаю глубокий вдох. Голос хриплый, и такое чувство, что у меня вот-вот опять польются слезы, но надо ведь что-то сказать. Выдавливаю из себя пару фраз о том, какая приятная у нас складывается атмосфера, и ту самую цитату из Бхагавадгиты — Кришна говорит Арджуне: «Вот ты стоишь предо мной, великий воин. Так что не задавай вопросов, вставай и борись». Они и не догадываются, что скоро у них не будет никакой работы, что некоторых из них могут привлечь как соучастников. Однако тайное всегда становится явным: эти люди — никакие не преступники, они

на такое даже не способны.

— «Вставай и борись» — это не из Бхагавадгиты, это в Библии сказано, — поправляет меня Мария Гудшмид.

На вероятность того, что займы с рейтингом «ААА» могут когда-либо существенно упасть в цене, вставляет Келлинг, можно, в принципе, закрыть глаза. Рейтинг «ААА» был и будет знаком того, что облигации свободны от рисков, это классический закон инвестирования в стоимость.

Проблема, добавляет Пельке, заключается в том, что инвестиционные банки сами вкладываются в те позиции, которые затем активно предлагают более мелким организациям. Таким образом, они сами определяют ценность своего продукта; иными словами, размер суммы, которую они хотят получить, устанавливается ими совершенно произвольно.

В какой-то момент, сообщает Фельзнер, США выразят коллективное недовольство этой системой. Но в настоящий момент остается только ждать. Есть указания на то, что новый аватар Кришны будет явлен нам уже в нынешние времена.

Что, однако, вовсе не означает, что этим аватаром будет человек, добавляет Мария Гудшмид.

Если, к примеру, делать ставку на секьюритизированные активы, говорит Леман, то нельзя даже предположить, каким ощутимым может быть удар в случае краха крупнейших финансовых конгломератов на рынке деривативов. Не существует формулы, по которой можно было бы надежно просчитать все риски.

— Клюссен выводит деньги, — произношу я.

Вмиг воцаряется тишина.

Но, наверное, он еще не принял окончательного решения, осторожно интересуется Фельзнер. Наверняка это еще можно предотвратить.

Не лучший момент, чтобы терять наиболее значимого инвестора, отмечает Мария Гудшмид.

При необходимости можно прибегнуть к определенным уловкам, намекает Леман. Если, к примеру, — ввиду нестабильности рынка, которой можно найти законное объяснение, — нельзя в точности установить размер капитала, то средства вкладчика могут быть временно заморожены его доверенным лицом, даже если вкладчик и не выражал на это согласия.

Все это теория, обрывает его Шретер. Ни один суд к такому аргументу прислушиваться не будет.

Вернемся к проблеме с инвестиционными

банками, перебивает Пельке. Он бы предложил кое-что из акций подшортить, но не вкладывать в это дело значительных сумм.

Лишь те, кто действует, могут рассчитывать на благосклонность Кришны, добавляет Леман.

Некоторые действуют, но Кришна почему-то все не благоволит и не благоволит, раздраженно парирует Пельке. Бог свободен в своих решениях, ведь бог и есть свобода.

Поэтому иногда плохим и достается все самое хорошее, подытоживает Келлинг, а хорошие остаются ни с чем. Нельзя с точностью установить кредитный риск младших траншей пула ипотечных кредитов, а потому…

— Благодарю вас, — говорю я и встаю. До сих пор я сохранял хорошую мину при плохой игре, держал спину прямо и не подавал виду. Но довольно.

— Еще один вопрос! — кричит мне вдогонку Шретер.

За моей спиной захлопывается дверь.

Направляясь к лифту, я раздумываю над тем, как можно установить, правильно ты воспринял услышанное или тебе только так показалось. Но если спросить очевидца, что было сказано, то он может и солгать, и даже диктофонную запись

нетрудно сфальсифицировать.

— Вот время и пришло, — говорит мужчина, стоящий со мной в лифте. — Вот и конец.

На голове у него шляпа, улыбка обнажает полусгнившие зубы. Я уже его где-то сегодня видел, вот только не помню где. Он не смотрит мне в глаза, разговаривает с моим отражением в задней стенке кабины, так что не он сам, а его отражение смеряет меня недружелюбным взглядом. Кроме нас, в лифте еще двое мужчин с дипломатами, но они смотрят перед собой, и до нас с ним им дела нет.

— Что вы сказали? — переспрашиваю я.

— Ничего, — отвечает он.

Отворачиваюсь.

— Бывает и так, что верного пути вообще нет, — произносит он.

Поворачиваюсь к нему.

— Было бы хорошо, если бы сам факт признания вины мог сделать тебя совершенно свободным, — продолжает мужчина. — Но иногда тебя уже ничего не может освободить. Ни правда, ни ложь. — Он изящным движением поправляет шляпу. — В принципе, даже различия между ними стираются, Ивейн.

— Прошу прощения?

Он хмурит лоб.

— Что вы только что сказали? — повторяю я. — Насчет правды и лжи? И вы назвали меня Ивейном?

Теперь уже двое с дипломатами смотрят на меня с явным беспокойством. Да-да, вот так это и делается, вот так человека и выводят из равновесия. Опомниться не успеешь, как тебя схватят, что-то крича, ударят, и вот ты уже у них в руках. Но я не так-то прост.

— Простите, почудилось, — произношу я.

— Да неужели? — отвечает мне мужчина в шляпе.

Кабина останавливается, один из ехавших с нами мужчин выходит, его место занимает дама в черном пиджаке. Удачная инсценировка, все выглядит так естественно. Можно смотреть часами и даже не замечать, что все подстроено.

— Тебе этого долго не выдержать, — говорит мужчина.

Я никак не реагирую.

— Беги, беги. Тебе идет этот костюмчик. Беги, пока можешь. Видок у тебя, правда, не самый бодрый.

Никак не реагирую.

— Имей в виду, сегодняшний день не такой, как

остальные. Иногда достаточно лишь осознать это — и станет легче. Смерть — это всего-навсего еще один шаг.

Лифт останавливается, открываются двери, я выхожу, не оглядываюсь. Выхожу на улицу, жара уже не такая страшная, скоро вечер. Кнут сидит за рулем, мотор заведен. Интересно, почему. Я что, велел ему меня подождать? Забираюсь в салон.

— Один вопрос, — говорит Кнут.

— Не сейчас.

— Насчет коммунальных облигаций. Как там обстоят дела? Вкладываться, не вкладываться?

До чего же здесь хорошо, прохладно и тихо. Славная машина, чистая, с полным баком, за рулем водитель — успокаивает почище любой религии.

— Просто дело в чем, — продолжает Кнут. — Тетя моя. Скончалась. Печальная история. Я вам уже рассказывал. Стройка, кран, все такое.

— Да-да, припоминаю.

Как всегда, я понятия не имею, о чем он.

— Но, в конце концов, она сама виновата. Зачем было там прятаться? Ее же никто не заставлял, верно?

— Верно.

— Как бы то ни было, никто из нас даже не дога-

дывался, что она сто тысяч евро успела скопить. Мы понятия не имели! А уж после той истории с хозяином и грабителями даже предположить не могли. Ну и она всегда такой жадиной была — ни на Рождество никогда ничего не подарит, ни детям не привезет… Так что нам теперь с этими деньгами делать? У нас сосед есть, у него сынок в банке работает. Не люблю я его, ну да ладно. Он меня тоже не любит. Особенно после того случая с его собакой. Все твердил, что она ну никак не могла сама забраться к нам во двор, но у меня-то два свидетеля есть!.. Ну да ладно. В общем, сын этого Мицника посоветовал в коммунальные облигации вложить.

— Кого?

— Мицника. Ну, звать его так, старика этого! Заикается еще. В коммунальные облигации, короче. Мицника этого сын. Ну так что скажете, шеф? Хорошая это затея или нет, с коммунальными облигациями?

— Вполне.

— Но хоть какой-нибудь доход с них будет? — Без всякой видимой причины он резко тормозит; счастье, что я пристегнут. Посигналив, трогается. — Хотелось бы что-нибудь на этом заработать! Если я ничего не получу, зачем в это ввязывать-

ся?

— Чем надежнее инвестиция, тем меньше она приносит дохода. Больше всего денег можно выиграть в казино, там шансы выше всего. Инвестиция — это состязание, в котором у тебя есть некоторые шансы на победу.

— Я могу отдать деньги вам, шеф?

— Мне?

— Чтобы вы за меня вложили.

— Такими маленькими суммами мы не занимаемся.

— Но ради меня, шеф? Окажите услугу! Как другу.

Он что, и впрямь назвал меня другом? Какая прозрачная уловка. Но меня трогает.

— Сто тысяч евро, да?

— Даже чуть больше.

По крайней мере этого хватит, чтобы еще на какое-то время оплатить аренду офиса. Он, конечно, потом будет со мной судиться, как и многие другие, но это уже не важно.

Качаю головой.

— Шеф!

— Это было бы неправильно. Поверьте.

— Но почему? — Он задыхается, раздаются какие-то всхлипы — он то ли рыдает от отчаяния,

то ли шипит от злости.

— Просто поверьте. Так будет лучше для всех.

Он тормозит, приоткрывает окно и кричит на кого-то. Я не все могу разобрать, но доносятся слова «скотина тупая», «морда наглая» и «чучело проклятое», и еще что-то про «удавлю». Мы снова трогаемся.

— Ну хорошо, — говорю я.

— Правда?

— Сделаю для вас исключение.

— Шеф!

— Не надо, не надо.

— Шеф!

— Прошу, не надо.

Он снова останавливается, оборачивается ко мне и пытается схватить меня за руку. Я уворачиваюсь, но Кнут подцепляет мой рукав.

— Я умереть за вас готов, шеф.

— В этом нет никакой необходимости.

— И убить за вас готов.

— Я вас умоляю!

— Серьезно. Только назовите имя!

— Прошу вас!

— И я убью его.

— Давайте уже поедем.

— Я не шучу.

И как тут прикажете не думать о Клюссене? Автокатастрофа, остановка сердца при загадочных обстоятельствах — если подойти с умом… К счастью, тут Кнут выпускает меня и жмет на педаль. Я закрываю глаза, и мне удается абстрагироваться и не слушать. Тут я вспоминаю, что так и не включил телефон. Это объясняет, почему мне не звонит никто из офиса — узнать, куда это я подевался.

И вот мы уже дома. Если выехать пораньше, то можно проскочить до часа пик. Я отмахиваюсь от дальнейших заверений Кнута в глубокой преданности, выхожу из машины и уверенной походкой, как настоящий мужчина, способный преодолеть трудности, иду по гравийной дорожке через сад. Отпираю входную дверь, вхожу и громко сообщаю: «Я дома!».

Ответа нет.

В общем-то, никто и не ждал, что в таком часу я уже буду дома. Дом затих, словно я застал его за чем-то нехорошим. Вот, значит, как оно все выглядит, пока меня нет дома. Зову еще раз, мой голос теряется в пустоте огромной прихожей.

И вдруг я что-то слышу.

Нет, это не стук, скорее шорох. Звук такой, словно по полу тащат тяжелый металлический

предмет. Прислушиваюсь, но уже опять ничего не слышно. И только я подумал, что мне послышалось, как вот — снова.

Шум доносится снизу, из подвала. Наверное, надо кого-то вызвать? Слесаря? Спасателей? Вдруг они приедут, а там уже ничего не шумит — как я буду выглядеть? На что это будет похоже? Направляюсь на кухню, мою руки. Вот, опять. Оконное стекло дрожит, тихо звенят бокалы в шкафу. Вытираю руки полотенцем. Тишина.

Потом опять этот шум.

Ни при каких обстоятельствах я не спущусь в подвал в одиночку.

Прислушиваюсь. Не гремит.

Гремит.

Пересекаю прихожую и открываю тяжелый засов на двери, ведущей в подвал. Никогда еще туда не спускался — зачем? В подвале у нас винный погреб, но это не мое дело, им занимается Лаура.

Вниз ведет лестница. На ступеньки падает дрожащий свет двух голых лампочек. На кирпичной стене три постера: Йода, Дарт Вейдер и какая-то обнаженная женщина, которой я никогда раньше не видел. Внизу металлическая дверь. Открываю ее, шарю рукой в поисках выключателя. Включаю свет. Лампочка трещит. Воздух затхлый.

Я оказываюсь в длинной комнате с низким потолком; вдоль стены — полупустой шкаф для вина. И это — моя коллекция? Вот за это вот я столько заплатил? В углу валяется жестяное ведерко. На противоположной стене вижу еще одну дверь. Шороха больше не слышно. Я медленно пересекаю комнату, кладу руку на ручку двери, вслушиваюсь в тишину. Жму на ручку и чувствую, как потянуло холодом — еще одна лестница. Ищу выключатель, зажигаю свет.

Лампочка грязная, свет дрожит. Наверняка ее давно не меняли. Ступеньки узкие. Правой ногой осторожно наступаю на верхнюю, на секунду замираю и медленно спускаюсь вниз.

Вот, опять. Раздается как будто глухой удар, что-то тащат, потом такой скрип, как будто вращается огромный механизм. Но вернуться я не могу. Если слишком часто поддаваться тревоге, превращаешься в жалкого труса. Это мой дом. Может, это испытание, может, сейчас случится что-то, что меня изменит.

Тишина.

Пока я спускаюсь вниз, не раздается ни звука. Слышу только свое дыхание и стук сердца. Холодно. Интересно, как глубоко я сейчас под землей? Открываю еще одну дверь, нащупываю следую-

щий выключатель.

Снова этот шум. Комната, в которой я оказался, на удивление велика, метров, наверное, пятнадцать на тридцать. Стены сделаны из камня, под ногами утоптанная глинистая почва, на потолке две лампочки, одна перегорела. Вижу скомканную тряпку, рядом какой-то металлический прут, заостренный с одного конца и с круглым наконечником, как у трости, на другом. И две двери. Дергаю одну: закрыто. Дергаю сильнее, но тщетно. Но другую получается открыть без труда, за ней очередная лестница. Выключателя нет.

Опустив голову, вглядываюсь в темноту. Пытаюсь сосчитать ступени, но дальше девятой не вижу.

Все, довольно! Дальше я не пойду.

Шаг за шагом двигаюсь вперед, держась левой рукой за стену. В правой — тускло светящий дисплеем телефон. Когда это стало так тихо? Я даже не заметил, как перестал слышать звук. Спускаюсь еще на две ступеньки. И еще на одну. И еще. Вот, лестница кончилась.

Передо мной снова дверь. Пытаюсь открыть ее, но она не поддается. Чувствую облегчение. Дальше дороги нет, можно возвращаться. Но стоит мне дернуть еще раз, как она открывается

без малейшего сопротивления.

На ощупь продвигаюсь дальше. Подо мной металлическая ступенька, стена куда-то уходит. Через некоторое время я понимаю: следующая лестница — винтовая. Шахта уходит вертикально вниз. Я нащупываю в кармане пластмассовую шариковую ручку, вытягиваю руку, бросаю ручку вниз.

Жду. Звуков удара не слышно. Видимо, ручка — слишком мелкий, слишком легкий предмет. Перерываю карманы, нашариваю портмоне, металлическую зажигалку, монеты, ключи. Зажигалка нужна мне только для того, чтобы предложить кому-нибудь огоньку. Откидываю крышечку. В свете огня гораздо четче, чем при свете телефона, видно ступени. Держу зажигалку над лестницей; пламя колышется. Следовательно, снизу понимается поток воздуха. Поколебавшись, роняю зажигалку. Огонек удаляется и исчезает во тьме. Звуков удара не слышно.

Но я слышу нечто иное. Прислушиваюсь. Выжидаю. Прислушиваюсь. Ступени сотрясаются все сильнее; по ним что-то ударяет. Проходит несколько секунд, прежде чем я понимаю — кто-то поднимается. Прямо мне навстречу.

А потом все окутывает тьма.

И вновь рассеивается. Мы сидим за столом: Лаура, Мари, отец Лауры, ее мать, ее сестра, муж сестры и двое их дочерей. Стол накрыт.

— Говорят, еще целую неделю будет так же жарко, — говорит Лаура.

— Год от году все хуже, — вторит ей сестра. — Не знаешь уже, куда деться с детьми.

— Домик бы в Скандинавии, — вставляет тесть. — Или на Северном море, — тут он поворачивается ко мне. — Вот как у твоего брата, например. Не помешал бы.

— Можем его навестить, — цежу я сквозь зубы. Я бы с удовольствием поел, я проголодался, но у меня слишком сильно дрожат руки.

Он переводит разговор на политику. Я время от времени киваю, остальные тоже. Вообще-то он архитектор; это он в семидесятые годы построил некоторые из тех уродливых цементных коробок, что рассеяны по всей стране, и за это ему достался орден за заслуги. Его жесты продуманы, он делает долгие паузы перед тем, как сказать что-то, по его мнению, значимое. Вот так надо действовать, так себя подавать, так глядеть — тогда тебя будут уважать. Я им восхищаюсь. Мне всегда хотелось быть как он. И кто знает, может быть, он в действительности на малую толику такой, как я.

Дрожь улеглась. Осторожно кладу в рот немного пищи. К счастью, никто не обращает на меня внимания.

Или обращает? Внезапно все уставились на меня. Почему, что случилось? Что я пропустил, что сделал не так? Видимо, Лаура сказала что-то о предстоящей поездке на Сицилию. Все улыбаются, радуются, с чем-то поздравляют.

— Прошу прощения, — говорю я. — Срочно надо позвонить. Я скоро вернусь.

— Ты слишком много работаешь, — отвечает Лаура.

— Надо научиться иногда себя баловать, — произносит тесть и, помолчав минутку, добавляет таким тоном, будто собирается поведать нам тайную мудрость: — Мужчина должен уметь жить на полную!

Интересно, думаю я, произнес ли он за всю свою жизнь хотя бы одну фразу, которая не была бы тысячу раз продумана и передумана заранее. Очень ему завидую.

Направляясь в кабинет, иду мимо открытой двери в залу. Лигурна, наша домработница-литовка, с печальным видом меня приветствует. Киваю и быстро прохожу. Год назад в минуту слабости я с ней переспал, и, к сожалению, случилось это не

на кухне и не на письменном столе, а в большой спальне, в нашей супружеской постели. Лигурна после этого с дотошностью сыщика проверила ковер и тумбочку на предмет волос, ресниц и всего прочего, что могло вызвать подозрения, но меня еще несколько недель мучил страх, что она что-то упустила. С тех пор я говорю с ней, только если этого никак нельзя избежать. Вышвырнуть ее из дома я не могу — вдруг она начнет меня шантажировать?

Сажусь за стол, глотаю две таблетки успокоительного, не запивая, принимаюсь разглядывать Пауля Клее, затем Ойленбёка на стене напротив: холст, покрытый вырезками из газет, посередине посажены сплющенная банка из-под кока-колы и плюшевый медведь. Нужно подойти довольно близко, чтобы увидеть, что это иллюзия — банка и медведь ненастоящие, и даже обрывки газет написаны на холсте маслом. Если взять лупу и приглядеться, то можно увидеть, что вырезки сплошь содержат искусствоведческую критику в адрес приема коллажирования.

Это — поздний, самый дорогостоящий период Ойленбёка. Я застал старого задаваку живым: волосы его были белы как снег, держался он крайне надменно и беспрестанно отпускал глупые шу-

точки по поводу нашего с Ивейном сходства, со всей очевидностью полагая, что, зная его, он так же хорошо знает меня. Я отдал за нее сто семьдесят тысяч, якобы по дружбе. Но как бы то ни было, на ней есть мишка, и он меня радует. Я знаю, что в искусстве все представляет собой пародию на что-то еще и на самом деле является вовсе не тем, чем кажется, но мне совершенно все равно. В кратком списке вещей, которые не удручают меня в жизни, этот плюшевый медведь лидирует с большим отрывом.

Какое счастье, что нынче все таблетки можно заказать по интернету. Как бы такой, как я, выжил еще лет пятнадцать тому назад? Скрестив руки на груди, я откидываюсь в кресле. С удовольствием поработал бы, чтобы отвлечься, но заняться нечем. Утратив надежду, обретаешь массу свободного времени.

Стук в дверь. Это Лаура.

— Ты не занят?

— Увы, как раз занят.

Она садится, кладет ногу на ногу, смотрит сначала на Клее, потом на меня.

— Хочешь поговорить о Мари?

— Нет, обо мне.

— О тебе?

— Да, представь себе, Эрик. Обо мне.

Только этого мне не хватало. Она что, снова собирается рассказать мне какой-нибудь сон? Или ей что, предложили роль? Вот уж и впрямь веселого было бы мало.

— Мне предложили роль.

— Это же замечательно!

— Небольшую, но надо же с чего-то же начинать. Не так-то просто вернуться в профессию спустя пятнадцать лет.

— Сейчас ты еще прекраснее, чем прежде!

Недурно, недурно. Мне и полсекунды не потребовалось, чтобы ввернуть эту заранее подготовленную, весьма удачную фразу, она у меня всегда под рукой. Разумеется, она ничуть не прекраснее, чем прежде, да и как так могло бы быть, но она похудела, и фигура у нее сейчас более спортивная, да и морщинки в уголках глаз, признаки зрелости, ей к лицу. Конечно, она может играть в кино, сомневаться в этом не приходится. Нужно немедленно этому помешать.

— Я долго думала.

— О чем?

— Я не хочу ставить на себе крест. Мне нужно сосредоточиться на себе.

Она делает паузу, очевидно, давая мне возмож-

ность отреагировать. Но как?

— Это временно, Эрик. Пока временно. Мы еще не расходимся. Время покажет.

Смотрит на меня, я — на нее.

— Эрик, что все это значит?

Убрав со лба прядь волос, ждет. Вероятно, сейчас моя очередь что-то сказать, но что именно? Что она хочет от меня услышать, о чем она вообще говорит?

— Я бы съехала, но особого смысла в этом нет. Мне надо заботиться о Мари, и помощь Лигурны мне пригодится. Было бы лучше, если бы ты что-нибудь себе подыскал. И до работы будет не так долго добираться.

— До работы?

— Кроме того, отсюда Мари недалеко до школы. Пока я буду сниматься, я не смогу часто бывать дома. Разумеется, ты можешь навещать ее, когда захочешь.

Я киваю. Мне ясно, о чем она говорит, хотя никакого смысла в этом я по-прежнему не вижу. Смысл есть в отдельных словах, может быть, даже в предложениях, но, сложенное воедино, это ничего не означает, словно она бормочет в бреду.

— Эрик, сейчас не время играть в твои дурацкие игры.

Киваю так, словно по-прежнему понимаю. Хорошо, что от меня сейчас и не требуется ничего говорить, поскольку она встала и продолжает свой монолог. До меня приглушенно доносятся звуки ее голоса, она говорит о долгих часах, проведенных в одиночестве, о том, что я вечно занят и что трезвый ум и деньги не могут быть важнее всего на свете. Проходит какое-то время, она замолкает, снова садится и чего-то ждет. Я беспомощно гляжу на нее.

— Не делай так со мной, — произносит она. — Брось свои уловки. Я тебе не деловой партнер. На меня такое не действует. Я знаю тебя.

Открываю рот, чтобы что-то сказать, делаю вдох, но, ничего не говоря, закрываю.

Она продолжает. У нее такие тонкие руки, такие изящные, хрупкие ладони, в свете настольной лампы то и дело посверкивает бриллиант в кольце, которое она носит на среднем пальце. Вот сейчас она говорит, что я ни в коем случае не должен думать, что дело в каком-то другом мужчине, нет никакого другого, и если мне так показалось, то я глубоко неправ, потому что никого другого нет и быть не может, и мне не нужно ни о чем подобном думать.

Стараюсь сосредоточиться, чтобы смотреть

на нее так же внимательно, не отвлекаясь, хотя мир утратил краски, а мое лицо стало как будто ватным.

— Отвечай же, Эрик! Прекрати! Скажи хоть что-нибудь!

Но, пока я придумываю, что ответить, мир снова ускользает, я опять оказываюсь в подвале, глубоко под землей, еще глубже, чем был, что-то движется мне навстречу по лестнице, я слышу чей-то голос. Звуки складываются в слова, вокруг тьма, и мне на плечи словно давит многотонный груз. Голос кажется знакомым. Откуда-то проникает луч света — это окно у письменного стола. Кажется, будто прошло много, очень много времени, но Лаура все еще сидит напротив меня и что-то говорит.

— Пока что пусть все идет, как идет, — продолжает она, — можно сделать вид, будто ничего не случилось. Слетаем на Сицилию. На следующей неделе пойдем на прием к Лоненковенам. Между делом можешь начать искать себе квартиру. Не стоит усложнять.

Я прочищаю горло. Я что, действительно на миг потерял сознание, прямо здесь, за столом, на глазах у жены, и сам того не заметил? Кто, черт побери, такие эти Лоненковены?

— О разводе я пока не говорю. Не обязательно заходить так далеко. Но если до этого дойдет, нужно будет вести себя разумно. Не сомневаюсь, что у тебя хороший адвокат. Как и у меня, впрочем. Я поговорила с отцом, он полностью меня поддерживает.

Киваю. Но кто же все-таки такие эти Лоненковены?

— Ну что же. — Она встает, убирает со лба прядь волос и выходит из комнаты.

Открыв ящик стола, я достаю блистер и выдавливаю одну, вторую, пятую таблетку. Выходя из кабинета, я чувствую себя так, будто мои ноги мне не принадлежат, а сам я — просто марионетка в чужих руках, причем руки это не самые умелые.

В столовой все по-прежнему на своих местах.

— Удалось позвонить? — улыбаясь, спрашивает меня тесть.

Сидящая рядом с ним Лаура тоже улыбается. И теща, и Лаурина сестра, и ее дочери — только Мари зевает. Понятия не имею, что за звонок он имеет в виду.

— Лаура, — медленно говорю я. — Мы ведь с тобой только что… Ты ведь только что…

Может быть, это все таблетки. Они мощные, а проглотил я немало. Может, мне это все просто

почудилось.

Или нет? Я ведь принял еще таблеток из-за разговора с Лаурой? Не заявись она ко мне, не пришлось бы столько принимать. Поэтому таблетки не могут быть причиной того, что мне померещилось, будто Лаура сказала мне что-то, что заставило меня глотать таблетки. Или нет?

— Плохие новости? — все так же улыбаясь, спрашивает тесть.

— Тебе лучше прилечь, — присовокупляет Лаура.

— Верно, — добавляет теща. — Ты совсем побледнел. Ступай-ка в постель.

Жду, но больше никто не произносит ни слова. Только улыбаются. Неуверенной походкой я направляюсь к выходу.

Правой ногой — на первую ступеньку, и дальше, дальше, вниз. Стараюсь не смотреть на дверь, ведущую в подвал. Знаю, что если она не заперта на засов, если дверь окажется распахнутой, то у меня просто остановится сердце. Пересекаю прихожую, открываю наружную дверь.

Темно, но все еще очень жарко. Справа от меня жмется к стене какое-то мохнатое, косматое существо и пялится на меня. Он него исходит страшная вонь. Я останавливаюсь, оно вскакива-

ет на ножки и, цокая копытами, бросается прочь, в черноту кустов живой изгороди.

Поднимаю створку гаражных ворот. Кнут в это время уже дома, придется садиться за руль самому. Наверное, в таком состоянии не стоило бы, но как-нибудь справлюсь. Мотор заводится, басовито урча, машина выкатывается на дорогу. Вижу в зеркале свой дом. Из чердачного окна льется слабый свет. Кого это занесло на чердак?

Но я уже скрываюсь за поворотом.

Главное — не угодить в аварию, после такого количества таблеток-то. На этот раз я не звоню Сибилле, хочу сделать ей сюрприз.

А что, если она не одна?

Эта мысль заставляет меня встрепенуться. Качнувшись, автомобиль выезжает на середину дороги, раздаются тревожные гудки, но мне удается вновь овладеть ситуацией. Если с ней мужчина, придется мне его прикончить! Под колеса летит желтый мусорный контейнер; я выкручиваю руль. Удается увернуться, но пластиковое ведро ударяет о правый борт с такой силой, что с него слетает крышка, и по улице разносятся обрывки картонных коробок. Я жму на тормоз, машина останавливается. На меня пялятся прохожие. На другой стороне дороги

останавливается автомобиль, из него выходят двое мужчин и направляются в мою сторону.

Только я собираюсь дать газу и сбить их к чертовой матери, как понимаю, что именно этого они и ждут — ждут, когда я потеряю самообладание. Поэтому, сжав кулаки, я выхожу из машины.

— Вам нужна помощь? — спрашивает один.

— Вы не ранены? — интересуется другой.

Я бросаюсь наутек. Бегу по узкой улочке, перепрыгиваю через ограждение какой-то стройки, перелезаю через ковш экскаватора, через другой забор и несусь вперед, пока мне не становится нечем дышать. Сердце колет. Я озираюсь по сторонам. Кажется, на хвосте никого. Но разве я могу быть в этом уверен? Они ж такие хитрые все.

Пешеходная зона. Миную двух женщин, полицейского, двух подростков, Адольфа Клюссена и еще двух женщин. Клюссена?! Да, я видел его совершенно четко — либо это был он, либо они подослали кого-то, очень на него похожего. В свете фонаря мелькает лицо Марии Гудшмид, но хотя бы этому значения можно не придавать — на Марию Гудшмид похожи тысячи женщин. Пешеходная зона осталась позади, я перехожу дорогу, взбегаю по узкой подъездной дорожке и оказываюсь у дверей дома, где живет Сибилла.

Дверь заперта. Жму на кнопку звонка.

— Кто там? — раздается в домофоне голос Сибиллы; она подошла так быстро, как будто ждала под дверью. Но меня она ждать не могла, она же не знала, что я приду — значит, кого-то другого?

— Это я, — отвечаю.

— Я — это кто?

Если она сейчас меня не впустит, если немедленно не откроет мне дверь, если вынудит меня стоять под дверью, то между нами все будет кончено.

— Эрик, ты?

Молчу. Дверь с жужжанием отворяется.

Кто-то касается моей руки. Позади меня стоит худощавый, длинноносый мужчина с острым подбородком. Одной рукой он держит руль велосипеда, в другой — полупустой пластиковый пакет.

— Не следовало тебе вмешиваться, — произносит он. — Если бы ты только оставил эту троицу в покое! Не твоего ума это было дело.

Захлопнув за собой дверь, я взбегаю по лестнице. Если у нее в доме мужчина, если у нее в доме, в доме у нее — вот, это ее этаж. Она уже ждет меня на лестничной клетке.

— Что случилось? — спрашивает она.

— Не следовало так поступать с машиной. Бросать ее на дороге. На что это вообще похоже!

— О чем ты?

— Надо позвонить в полицию и сообщить об угоне.

Прохожу мимо нее в квартиру. Никого. Она одна. Сажусь на первый же подвернувшийся стул и включаю телефон. Девять пропущенных вызовов, три из офиса, шесть из дома, три сообщения. Выключаю.

— Эрик, что произошло?

Хочу сказать, что ничего, просто слишком много всего сразу навалилось. Сказать, что не могу найти выход из положения. Но говорю только: «У меня был тяжелый день». И, глядя на нее, понимаю, что вовсе не хочу здесь находиться. Я хочу домой.

— Хотел побыть с тобой, — говорю я.

Она подходит ближе, я встаю и, совладав с собой, делаю, что должен. Руки пробираются туда, куда надо, я двигаюсь правильно, и мне даже удается испытать некую радость оттого, что ей этого так хочется, что она такая податливая, так славно пахнет и, наверное, даже немножечко любит меня.

— Я тебя тоже, — шепчет она. Гадаю, что еще я

успел сказать.

Потом я лежу, не смыкая глаз, прислушиваюсь к ее дыханию, вглядываюсь в темный потолок. Засыпать нельзя, мне надо быть дома до наступления утра, и Лаура расскажет мне свой очередной сон.

Беззвучно поднимаюсь и начинаю одеваться. Сибилла спит. На цыпочках прокрадываюсь к выходу.

# О красоте

— Видели недавнюю выставку Каррьера?

— Видел, и прямо даже не знаю, что сказать.

— Что вы!

— Говорят, он испытывает наш привычный взгляд на вещи. Да он и сам так говорит, какой журнал ни возьми — нынче об этом везде можно прочитать. Но в общем у него все сводится к той простой истине, что образы — всего лишь образы, а не реальность. Но сам он этим знанием гордится, словно ребенок, только что догадавшийся, что пасхального зайца не существует.

— Злой вы человек.

— Но я высоко ценю его мастерство.

— Нисколько не сомневаюсь!

Мы улыбаемся друг другу. Моя работа — не просто продавать картины, а еще и находить нужных покупателей. Разумеется, мне необходимо убедить Элизу в том, что в ее собрании непременно должен быть еще один Ойленбёк, но в то же время и Элиза должна убедить меня в том, что ее собрание — самое подходящее для него место. Уже не стоит ждать, что на рынке

появится много его работ, им заинтересовались государственные музеи — платят они меньше, но зато как возрастает за счет таких приобретений репутация художника! А это, в свою очередь, приводит к стремительному росту цен на аукционных торгах вторичного рынка. Тут необходимо проявлять осторожность: если цены растут слишком быстро, то вскоре последует их неминуемое падение, в прессе напишут, что рынок вынес свой вердикт — после чего репутацию художника уже невозможно будет восстановить. Следовательно, Элиза должна убедить меня в том, что не поспешит избавиться от картины, как только на ней можно будет заработать, ей нужно доказать, что ее намерения как коллекционера достаточно серьезны, а мне нужно доказать ей, что стоимость произведений Ойленбёка в долгосрочной перспективе не упадет.

Тем не менее об этом всем мы не обмолвились и словом. Мы сидим, перед нами по миске салата, неспешно попиваем минералку, постоянно улыбаемся друг другу, болтаем о обо всем на свете кроме того, ради чего встретились. Я неплохо управляю наследием, она — неплохой коллекционер. Правила игры нам известны.

Поэтому мы обсуждаем террасы Венеции. Там

у нее квартира с видом на Большой канал, я однажды гостил у нее, но все время шел дождь, над водой висел туман, и город казался унылым, мрачным и каким-то затхлым. Мы смеемся, обсуждая вечеринки, закатываемые в рамках Биеннале, сходимся во мнении, что все они утомительны, шумны, отнимают много сил — одним словом, что все это само по себе вызов, но идти все равно приходится, выбора нет. Сходимся на том, что великая красота может обернуться великим истощением: пред ее лицом стоишь и чувствуешь себя совершенно беспомощным, и кажется, что надо что-то сделать, совершить, как-то отреагировать, но сама она безмолвствует и со своей высоты как бы указывает тебе терпеливо на твое место. Тут мы, разумеется, не можем не вспомнить Рильке. Говорим о его визитах к Родену, немного о самом Родене, потом — совершенно неизбежно — переходим на Ницше. Просим принести кофе, салатов своих мы не доели, есть в такую жару совершенно не хочется. И только сейчас, когда наша встреча уже подходит к концу, мы заговариваем об Ойленбёке.

Дело непростое, замечаю я. Есть целый ряд заинтересованных лиц.

Могу себе представить, отвечает Элиза. Но если

картине суждено обрести новый дом, то правильно было бы исходить из того, какие у полотна будут соседи, какое окружение. Некоторые вещи Ойленбёка в ее собрании уже присутствуют. Дома, в Генте, у нее висит Рихтер, имеются Деманд и Дин, пара работ Кентриджа и Уоллингера, один Борреманс — согласитесь, у него с Ойленбёком есть определенная стилистическая общность, — и кое-что из Джона Каррена. Кроме того, она имела счастье быть знакомой с мастером лично — разумеется, не так близко, как я, но все же достаточно для того, чтобы понимать, что он не слишком стремится войти в состав музейных коллекций. Его работы должны находиться в средоточии современной жизни, а не в пыльных запасниках галерей.

Я неопределенно киваю.

— Какая жара, — говорит она.

Она начинает обмахиваться ладонью, и, хотя зал ресторана оборудован беззвучными кондиционерами, этот жест вовсе не кажется неуместным. Ей не составляет труда выглядеть элегантно. Если бы мне нравились женщины, я бы, наверное, в нее влюбился.

В такую погоду, продолжает Эльза, невольно начинаешь испытывать уважение к мавритан-

ской культуре. Подумать только, они возводили Альгамбру при таком невыносимом пекле — как только им это удалось?

То были иные времена, отвечаю я, да и наше племя тогда было много здоровее, чем сейчас. Человек не поддается однозначному определению; он создает себя. Пути, которые преодолевали римские легионеры, требовали от них усилий, которые ныне по плечу лишь олимпийским чемпионам.

— Ницше оценил бы это сравнение, — замечает Эльза.

— При этом, — возражаю я, — такое сравнение может прийти в голову лишь здоровому человеку. Стоит разболеться зубу, и начинаешь молиться на спасительный прогресс и отдаление от природы.

Поднявшись с мест, мы приобнимаем друг друга на прощание, целуемся в обе щеки, не касаясь их губами. Она удаляется; я остаюсь, чтобы заплатить по счету. Нам предстоит еще одна встреча, скорее всего, это будет ужин; потом, возможно, завтрак, потом я предложу ей встречу в бывшей мастерской Генриха, и, возможно, тогда настанет момент поговорить о деньгах.

До дома мне отсюда недалеко, я живу за углом

от ресторана. Войдя в прихожую, как всегда, останавливаюсь у небольшого рисунка Тьеполо, радуясь, что могу называть своей столь совершенную вещь. Проверяю сообщения на автоответчике.

Сообщение всего одно: аукционный дом «Везельбах» желает известить, что один коллекционер из Парижа выставил на торги, которые состоятся через две недели, картину Ойленбёка «Старуха Смерть во Фландрии» — вещь, к счастью, скорее проходную. Интереса до сих пор никто не выразил, но владелец все же не собирается снимать полотно с продажи.

А вот это уже плохо! Если никто не проявился, то это означает, что и на торгах интерес будет умеренный, и, вероятно, мне придется самому приобрести эту работу, чтобы не позволить Ойленбёку упасть в цене. Стартовая цена — четыреста тысяч, сумма немаленькая, к тому же я не получу за нее ничего, кроме картины, которую сам же шесть лет назад и продал за двести пятьдесят. В этом году пришлось купить уже трех Ойленбёков, а ведь на дворе еще только август. Надо что-то предпринять.

Звоню Векслеру, новому главному хранителю монреальского музея Клейланда — только для

того, чтобы оставить сообщение, но, несмотря на разницу во времени, он тут же снимает трубку. Говорит, что настроил переадресацию звонков из офиса себе на сотовый, и нет, он не спит, нет у него больше такой привычки.

Некоторое время мы просто болтаем — о погоде, о межконтинентальных перелетах, о ресторанчиках на Манхэттене, в Лиме и в Москве. Я жду, что он упомянет выставку Ойленбёка, которую намеревается устроить года через два — для меня она имела бы неоценимое значение, но он, разумеется, ждет, что я спрошу о ней сам. Поэтому мы еще где-то с четверть часа обсуждаем горные лыжи, новый фильм Ханеке, рестораны в Париже, Берлине и Буэнос-Айресе. В конце концов он понимает, что ключевая фраза прозвучит не из моих уст, и сам выводит разговор на нужную тему.

— Поговорим об этом в другой раз, — отвечаю я.

На том конце провода слышно разочарование. Векслер сообщает, что через два месяца собирается в Европу, может быть, нам встретиться — за завтраком, к примеру, или, скажем, за ланчем?

— Отличная мысль, — говорю я.

— Превосходно, — отвечает он.

— Да, просто замечательно, — говорю я.

— Ну что же, чудненько, — говорит он.

Кладу трубку. И вдруг, ни с того ни с сего, меня одолевает такое чувство, словно мне срочно нужно позвонить брату. Открываю телефонную книгу: я совершенно не в состоянии запоминать комбинации цифр — номер Эрика, и тот выучить не могу.

— Да? — его голос звучит еще напряженнее, чем обычно. — В чем дело?

— Я тут подумал: позвоню-ка тебе.

— А что такое?

— Не знаю, просто какое-то странное чувство. С тобой все в порядке?

Короткая пауза.

— Разумеется.

Судя по его тону, все совсем не в порядке, более того — судя его по тону, он прямо-таки хочет показать мне, что *лжет*.

— А откуда у меня тогда такое чувство?

— Может, потому что я сам собирался с тобой сегодня… Ах, вот оно что! — Гудят автомобили, ревет мотор, потом раздается какой-то присвист — кажется, он смеется.

— Представь себе, я попросил секретаршу тебе позвонить, а она… Она позвонила Мартину!

— Мартину?

— Ну, мы сходили пообедать. Я еще все время спрашивал себя, что он тут делает.

Осведомляюсь, как дела; он, как всегда, отвечает уклончиво. Что-то не так, он явно хочет о чем-то меня спросить, но не может себя заставить. Вместо этого интересуется, что у меня с работой, и, хотя я знаю, что это его ни капельки не интересует, все же отвечаю: приходится следить за тем, что происходит за стенами аукционных домов; нельзя терять контроль над ценами. И вот он уже перебивает меня, переводит тему на то, как там мать — больная тема, — но я продолжаю настойчиво его расспрашивать.

— С тобой что-то не так. Я это чувствую. Можешь отговариваться, но…

— Прости, мне пора!

— Эрик, ты можешь обо всем мне…

— Все в порядке, правда, просто пора!

И вот он уже сбросил. Странные они, эти разговоры с Ивейном — словно с самим собой говоришь, и мне вдруг снова становится ясно, почему я его избегаю. Потому что мне трудно от него что-то скрывать, он видит меня насквозь, как я вижу его. При этом я не уверен, что он сохранит это в тайне. Есть старинная мудрость: тайна

остается тайной лишь тогда, когда о ней не знает никто, кроме тебя одного. Если придерживаться этого правила, то хранить секреты не так сложно, как может показаться. Даже если знаешь другого человека, как себя самого, прочесть его мысли ты все равно не сможешь.

Наш разговор напомнил мне, что я собирался позвонить матери. Она оставила мне три сообщения на автоответчике — игнорировать их бессмысленно. Поколебавшись, звоню.

— Ну наконец-то!

— Занят был. Прошу прощения.

— Ты? Занят?

— Да, много работы накопилось.

— Все эти твои картинки?

— Именно, эти мои картинки.

— По ресторанам шляться.

— Переговоры — часть делового процесса.

— Переговоры, говоришь.

— Что за намеки?

— Да просто радуюсь, что у моего сына интересная работа. По крайней мере она тебя, очевидно, подпитывает. Во всех смыслах.

— Чего ты от меня хотела?

— Участок по соседству с моим домом. Ну, ты понимаешь, который идет от моего забора и

спускается в овраг, там еще берез много. Так вот, он продается.

— Ага.

— Только представь себе, что кто-то может начать там стройку! А если не ради стройки, то зачем его покупать? Кто бы его ни купил, будет его чем-то застраивать.

— Не исключено.

— А как же вид из моего окна? Ну, то есть из нашего, я хотела сказать. Дом же достанется вам по наследству, так что вид из окна и вам должен быть небезразличен. Даже если вы соберетесь его продавать. А вы соберетесь — уж наверняка никто из вас не захочет там жить.

— До этого еще далеко.

— Перестань!

— Что именно мне надо перестать?

— Я хотела предложить тебе купить этот участок, пока кто другой не появился — вцепится и будет потом застраивать. Сохранишь таким образом цену на дом. К тому же это было бы хорошим вложением.

— С какой стати это было бы хорошим вложением, если я даже построить на нем ничего бы не смог?

— Не пытайся сделать вид, что понимаешь что-

нибудь в том, как ведутся дела, ты же просто… Такой, какой ты есть.

— Да, я такой человек, который считает, что участок, на котором нельзя строить, нельзя назвать хорошим вложением.

— Можешь засеять его зерном.

— Куда же мне потом девать это зерно?

— Рапсом, например, или чем-нибудь в этом роде.

— Я понятия не имею, что из себя представляет рапс.

— На нем машины ездить могут.

— Поговори с Эриком. Деньги у него есть, и в инвестициях он разбирается получше меня.

— Но я к тебе обращаюсь!

— Поговори с Эриком, мама. Меня ждут дела.

— Очередной обед небось?

— Поговори с Эриком.

Она вешает трубку, а мне пора выходить. Спускаюсь по лестнице, пересекаю нагретую солнцем площадь, ныряю в метро. Эскалатор уносит меня в прохладный полумрак подземки.

Тут же подходит поезд, вагон полупустой. Сажусь.

— Фридлянд!

Поднимаю взгляд. Рядом со мной, держась за

поручень, стоит арт-обозреватель «Вечерних новостей».

— Вы ли это? — восклицает он. — Вы — и в метро?

Я пожимаю плечами.

— Да быть этого не может!

Улыбаюсь. Главное — чтобы он не решил ко мне подсесть.

— Тут не занято? — он хлопает меня по плечу.

Его звали Виллем, он был фламандцем, собирался стать художником. Имел определенные задатки, был громогласен, обаятелен, легко возбудим, но, увы, не слишком одарен. Будучи поклонником Николя де Сталя, писал абстрактные полотна — я попрекал его этим, называл трусом и подражателем; сам-то я был реалистом, поклонником Фрейда и Хокни, чем уже он, в свою очередь, меня попрекал, называя трусом и подражателем. Мы много ссорились, много пили, принимали в умеренных дозах наркотики, носили шелковые рубашки и отпускали волосы до плеч. На протяжении довольно недолгого времени мы делили мастерскую в Оксфорде, которая на самом деле была всего-навсего комнатой над прачечной; он писал, стоя у северного окна, я — у западного; в комнате была раскладная кро-

вать, мы пользовались ею вовсю, и нам казалось, что на нас обращен взгляд из будущего, словно историки искусства последующих времен не сводили с нас глаз. Когда он решил бросить учебу, я обозвал его лентяем и сам бросать не стал, а он сообщил мне, что у меня мещанские нравы.

Настали каникулы, и мы отправились бродить по зеленеющим росистым полям Уэльса, в сумерках взбирались на холмы, покоряли островерхие утесы и опасные расщелины, однажды любили друг друга прямо на испещренном рунами камне, что оказалось занятием еще более неудобным, чем нам представлялось. Мы вели споры, угрожали друг другу, кричали, в знак примирения напивались и, захмелев, по новой сходились в стычке. Мы наполняли рисунками альбом за альбомом, поутру ждали рассвета, ежась на влажном ветру и глядя на оловянно-зеленую блеклость вод.

К концу каникул я возвратился в Оксфорд, а он направился в Брюссель с целью убедить отца продолжить его финансирование. Шел девяностый год, оковы Восточной Европы пали, а поскольку электронная почта была еще не в моде, мы слали друг другу открытки, почти каждый день. Меня по сей день терзает беспокойство, что все мои

эскапады — вся эта философия, романтика, надежда и ярость — так и хранятся в каком-нибудь ящике. Его письма я впоследствии уничтожил — отсылать их обратно показалось мне чересчур утрированным жестом.

А все потому, что, прибыв на следующих каникулах в Брюссель, я понял, что что-то изменилось. Мы выглядели точно так же, как прежде, делали все то же, что прежде, вели те же разговоры, но что-то стало другим. Может, все дело было в том, что мы были еще слишком юны и боялись что-то упустить, но постепенно мы наскучили друг другу. Чтобы заглушить скуку, мы стали еще больше шуметь, еще громче ругаться. Не спали по три ночи кряду и перетекали из клуба в клуб, окруженные ритмичным гулом и всполохами танцев, пили от усталости, от перевозбуждения, пока все места, по которым мы кочевали, не сливались в одно, и все лица тоже. То мы оказывались в музее и спорили о Магритте, то снова валялись в траве, то опять были у него в квартире, пока в какой-то момент не расстались — не поняв толком, как, да, собственно, и почему. Виллем запустил в меня бутылкой, я пригнулся, она разлетелась, ударившись о стену у меня над головой — к счастью, пустая. Я бросился вниз по лестнице,

даже не взяв чемодан; он заорал мне вслед, его голос гнался за мной по лестничным пролетам; потом он звал меня из окна, кричал: «Вернись!», потом: «Чтоб духу твоего здесь больше не было!», затем опять: «Вернись!» — и только когда его голос затих вдалеке, я отважился спросить дорогу к вокзалу. Какая-то женщина с обеспокоенным лицом указала в нужную сторону — наверное, вид у меня был довольно бледный; и тут я увидел афишу. То же самое фото, тот же самый слоган: «Великий Линдеман научит вас бояться того, о чем вы мечтаете».

Под конец представления, которого я даже не видел — сел передохнуть на парковую скамейку, да так и проспал до вечера, — я оказался у входа в театр. Люди только-только начали выходить. Я отправился на поиски театрального буфета. Линдеман сидел за столом, склонившись, хлебал суп, а когда я подсел к нему, устремил на меня изумленный взгляд.

— Позвольте представиться: Ивейн Фридлянд. Разрешите взять у вас интервью? Для «Оксфордского ежеквартальника»?

Я понятия не имел, существует ли «Оксфордский ежеквартальник» в природе, но интернета тогда не было, и проверить было бы затрудни-

тельно.

Внешне он ничуть не изменился, стекла очков все так же блестели, из кармана пиджака торчал зеленый платок. Начав задавать ему вопросы, я понял, до чего же это был стеснительный человек. Лишившись публики и софитов, он, казалось, терялся в смущении. Он поправлял очки, пытался выдавить из себя улыбку и то и дело принимался ощупывать лоб, словно желая удостовериться, что редкие оставшиеся у него волосенки по-прежнему на месте.

Когда речь идет о гипнозе, сообщил он, говорить приходится не о каком-то одном явлении, а об их комплексе: готовности подчиниться авторитету, общей слабохарактерности, внушаемости. Иной раз подключаются какие-то доселе неведомые механизмы подсознания — неведомые лишь потому, что еще никто не захотел ими заняться. В результате человек на короткое время утрачивает и без того поверхностный контроль над своей волей.

Тут он закашлялся, суп струйкой побежал по подбородку.

Почему «поверхностный»? Да потому, пояснил он, что, как правило, погруженного в транс человека нельзя заставить ни пережить, ни со-

вершить ничего такого, чего бы он сам не желал. Затронуть какие-то глубокие душевные струны удается лишь изредка.

Я спросил, что он имеет в виду, но он уже унесся мыслями куда-то далеко и начал жаловаться — на низкие гонорары, на высокомерие редакторов телевизионных программ. На какую-то передачу, где он выступал, а потом его выступление вырезали. На профсоюз работников сцены, в особенности на профсоюзные пенсионные начисления. На то, что приходится много ездить поездом, а поезда вечно опаздывают, и расписания составляет какой-то недотепа. На низкий уровень гостиниц. На высокий уровень гостиниц, потому что цены там неподъемные. На дураков в зале, на пьяных, на задир, на детей, на тугоухих, психопатов. Просто удивительно, сколько психопатов приходит посмотреть сеанс гипноза! Потом снова на гонорары. Я спросил, не хочет ли он заказать что-нибудь еще, за счет альманаха, и он спросил шницеля с картошкой фри.

— Давайте вернемся к тому, с чего начали, — предложил я. — К механизмам, благодаря которым работает наше сознание.

Да, совершенно верно, опомнился он — да-да, те таинственные механизмы, которые он упо-

мянул, именно так. Они и для него остаются таинственными, несмотря на то, что он уже столько повидал. Но он не ученый и не может давать объяснений. И вообще он занялся этим ремеслом вопреки своей воле, учился-то он совсем по другой специальности.

— А именно? На кого вы учились? По какой специальности?

Официантка подала шницель. Он поинтересовался, понравилось ли мне представление.

— Весьма впечатляюще.

— Можете не кривить душой.

— Весьма впечатляюще!

Масштаб не соответствуют заявленному, сообщил он. Я не сразу понял, что это он о шницеле. О том, что для своих размеров он дороговат. Но сегодня все стало дороговато, возможностей маленького человека никто уже не берет в расчет.

Я полюбопытствовал, хорошо ли по крайней мере это блюдо.

Мясо могло быть и потоньше, заявил он. Шницель, вообще-то, отбивать полагается, почему в наше время никто уже об этом не помнит? Поколебавшись, он спросил, где же мой диктофон.

— У меня отличная память, — ответил я.

Память, продолжил он с набитым ртом, —

явление несколько переоцененное. Просто удивительно, как легко внушить человеку ложные воспоминания, как просто стереть что-то из его памяти, не оставив и следа. Вы справитесь без диктофона? Он вам точно не нужен?

Чтобы сменить тему, я предложил ему заказать десерт; он выбрал торт «Захер» и, склонив голову набок, принялся выспрашивать, что представляет из себя «Оксфордский ежеквартальник» — студенческий журнал?

— О, его читают в довольно широких кругах.

— А вы — на кого вы учитесь, молодой человек?

— Изучаю историю искусства. Но вообще я художник.

Он опустил взгляд и уставился на стол.

— Скажите, мы могли с вами где-то встречаться?

— Не думаю.

— Нет?

— Не могу себе представить, где бы мы могли встречаться.

— Значит, художник, — повторил он.

Я кивнул.

— Художник, — он улыбнулся.

Я спросил, сколь велико влияние, которое гип-

нотизер может оказывать на людей. Можно ли заставить кого-то изменить свою жизнь? Поступать так, как никогда не поступил бы, не попади под гипноз?

— Любой человек способен заставить любого другого человека изменить свою жизнь.

— Но вы говорите, что невозможно заставить человека делать что-то, чего он сам не хочет?

Он пожал плечами. Между нами говоря, что это вообще значит — хотеть чего-то или не хотеть? Кто из нас по-настоящему знает, чего хочет, кто настолько в ладах с собой? Человек так много всего хочет, причем каждую минуту уже чего-то нового. Разумеется, зрителям в самом начале объявляют, что никого еще не удалось заставить пойти на поступок, совершить который человек в глубине души не был бы готов, но вот в чем штука — в глубине души каждый готов на все. Человек — создание открытое, это хаос, не имеющий ни форм, ни границ. Линдеман оглянулся. Что же они столько времени возятся с тортом, не печь же они его собрались, в самом деле!

— Я вот лично не считаю себя хаосом, не имеющим ни форм, ни границ, — говорю я.

Он смеется.

Официантка принесла торт; прошу рассказать

несколько забавных случаев из жизни. Наверняка за долгие годы успешной карьеры с ним что-нибудь эдакое приключалось.

Успешной? Ну-ну. Это раньше, во времена расцвета варьете, в эпоху Гудини и Хануссена, гипнотизер мог претендовать на успех. Но в наши дни! Жизнь, отданную искусству, едва ли можно рассказать в парочке анекдотов.

— Так гипноз — это искусство?

И возможно, даже нечто большее. Может быть, гипноз уже давно дает людям то, к чему искусство только стремится. Вся эта великая литература, музыка, вся эта… Тут он улыбнулся. Вся эта живопись только и пытается загипнотизировать смотрящего, не так ли? Отодвинув тарелку, Линдеман сообщил, что ему пора отправляться в постель, выступление — вещь утомительная, после выхода на сцену состояние прямо-таки обморочное. Поднявшись, он положил руку мне на плечо.

— Художник, значит?

— Прошу прощения?

Выражение его лица изменилось; от былой любезности не осталось и следа.

— Художник! В самом деле?

— Не понимаю вас.

— Не важно. Не имеет значения. Но вы это что, серьезно? *Художник?*

Я снова спросил, что он хочет этим сказать — нет-нет, ничего. Просто усталость. Он хотел бы прилечь. Он огляделся по сторонам, словно ему пришла в голову какая-то мысль, пробормотал что-то неразборчивое. Вид у него был тщедушный, лицо бледное, глаз не разглядеть за толстыми стеклами очков. Помахав рукой, он мелкими шажками направился к двери.

Только когда я сел на паром, чтобы переправиться через канал, я понял, что его голос по-прежнему звенит у меня в ушах. «*Художник?* Вы это серьезно?» Еще никогда в жизни меня не охватывали столь глубокие сомнения, еще никогда я не сталкивался с таким скепсисом, с такой мощной насмешкой.

Немного погодя, когда я уже вернулся в Оксфорд, он явился мне во сне, и сон был настолько правдоподобен, что мне по сей день кажется, будто я встречался с ним не дважды, а трижды. Там тоже был театральный буфет, но во сне он размерами напоминал собор. Линдеман стоял на столе, его улыбка превратилась в гримасу — смотреть на него было практически невозможно.

— Я ничего не забываю, — хихикнул он. — Не

забываю лиц, не забываю людей, выходивших у меня на сцену. Ты что, действительно думал, что я тебя не вспомню? Бедный малыш! Думаешь, у тебя есть потенциал? Художественные способности, талант, дух творчества… Ты и впрямь в это веришь?

Я отступил; во мне боролись ярость и страх, но ответить я не мог. Улыбка его все ширилась и ширилась, пока перед моими глазами не осталось ничего, кроме нее.

— Способности у тебя есть только к тому, к чему должны быть способности. Внутри ты пуст. Пуст, как дупло! — Он рассмеялся пронзительным и звонким смехом. — Ступай же. Иди в мире Христовом, который ляжет на тебя крестом. Иди и не твори. Ступай.

Очнувшись, я лежал, вглядываясь в царивший в спальне полумрак, и не мог понять, что именно так меня напугало. Откинул одеяло. Под ним, свернувшись калачиком, лежал Линдеман и посверкивал очками. Он захихикал, и я снова проснулся в той же комнате, на этот раз уже по-настоящему, потому что откинул одеяло, и никакого Линдемана там не было; я был один.

Он был прав, и я это понимал. Из меня никогда не выйдет художника.

Вот теперь я припоминаю его имя; его зовут Себастьян Цёльнер. Спрашиваю, куда он направляется. Не то чтобы меня это действительно интересовало, но, если оказываешься в вагоне метро с человеком, с которым шапочно знаком, то надо же о чем-то говорить.

— В мастерскую к Малиновскому.

— И кто такой этот Малиновский?

— Вот именно! Кто такой этот Малиновский? Но о нем сейчас готовит статью «Сёркл», и, если эту историю опубликуют, то тут же подтянется «Арт мансли», и шеф в тот же день вызовет меня на ковер и спросит, почему я опять что-то упустил. Нет уж, лучше я сам сделаю первый шаг!

— А если «Сёркл» не напечатает статью?

— Я уверен, что напечатает, когда я напечатаю свою. А я-то уж напишу, что это просто позор, что такие художники, как Малиновский, обделены заслуженным вниманием! Что у нас раздуваемая шумиха по-прежнему превосходит качество работ — вот что я напишу, хорошо, правда? Шумиха превосходит качество. И если до этого Хумпнер из «Арт мансли» не пошевелится, то тут-то он точно обделается, когда поймет, что его обошли. И подтянется, и вот я уже буду считаться первооткрывателем Малиновского! Вот в

чем преимущество, когда пишешь для ежедневной газеты, а не для журнала, номера которого верстаются на два месяца вперед. Стоит только пронюхать, что там собираются публиковать, — и опередить не составляет труда.

— В какой же области он творит?

— Кто?

— Да Малиновский.

— Понятия не имею! Затем я к нему и еду — выяснить.

Он сидит рядом, одутловатый, небритый, с остатками волос на голове, пиджак такой мятый, будто он спал, не раздеваясь. В средневековом искусстве внешность человека отражает состояние его души: благочестивые прекрасны, злодеи уродливы. Девятнадцатый век научил нас, что это чепуха. Но даже самый незначительный жизненный опыт учит, что доля правды тут все-таки есть.

— Вы были на открытии у Кевенхюллера?

Качаю головой. Но, поскольку я тоже читаю газеты, я могу со стопроцентной уверенностью предсказать, что сейчас от него услышу. Что Кевенхюллер уже с давних пор только и делает, что повторяется.

— Ничего нового. Все время одно и то же, от-

ливка за отливкой. В девяностые, года так до девяносто восьмого, в нем было что-то оригинальное. Ему было что сказать. А сейчас это позапрошлогодний снег.

Поезд останавливается, вагон заполняет толпа японских туристов — человек тридцать, у половины на лицах медицинские маски. Плотно прижавшись друг к другу, они молча оккупируют пространство.

— Хотелось бы мне иметь вашу профессию, — наклонившись ко мне, бормочет Цельнер.

— Вам ничто не мешает, — с расстановкой произношу я. — У вас бы получилось.

Он лишь отмахивается — настолько поглощен собой, что даже не замечает, что я лгу.

— Пройдет лет пятнадцать, и я останусь без работы. Газеты прикроют, будет один интернет. А мне еще и пятидесяти не стукнуло! До пенсии еще далеко, а менять на переправе лошадей уже поздно.

У меня в голове рождается идея очередного полотна Ойленбёка. Портрет Цельнера, изображающий его вот так, вплотную, вблизи, как он сейчас сидит рядом со мной, подсвеченный зеленоватым искусственным светом метро, на фоне толкущихся японских туристов, с подписью:

«Властитель дум». Но, разумеется, это все мечты — тебя уже давно нет на свете, бедняга Генрих, никто не поверит, что это не фальшивка.

— Вся эта молодежь! А ее с каждым годом выпускается все больше. Приходят на практику, носят тебе кофе, интересуются, с сахаром или без, заглядывают через плечо и терзаются в догадках, что же я могу делать такого, чего не могут они. И все они что-то смыслят в искусстве, Фридлянд! Глупыми их не назовешь. Все хотят оказаться на моем месте! А мне тогда куда податься? На портал «Критики онлайн»? Да лучше повеситься!

— Ну что же вы так сразу, — отвечаю я, терзаемый чувством неловкости. Он этот разговор запомнит и мне этого не простит.

— Но им не хватает чутья! Они не могут просечь момент, когда надо начать расхваливать Малиновского, не просекут, когда пора будет перестать его хвалить. Они подпадают под впечатление — что-то им нравится, а что-то нет. Вот в чем ошибка. Они не понимают, что от них требуется.

— Требуется?

— Передо мной бесполезно красоваться. Меня ничто не может впечатлить. Чтобы понять, восходящая перед тобой звезда или нисходящая, нужен опыт, нужна интуиция! — он проводит

рукой по лицу. — Но вы и не представляете, под каким давлением мы все живем. Один Молькнер чего стоит! То он поет дифирамбы Шпенгриху, который в наше время нравиться уже не может, то настоятельно рекомендует обратить внимание на Генеля — и это за пару дней до того, как во время выступления в «Камере культуры» вдруг выяснилось, что он вовсе не сторонник демократии! — то фотореализм провозглашает искусством будущего. Жалкая попытка позиционировать себя как консерватора на фоне Люмпинга и Карцеля. И этот идиот еще выбрал момент, когда Карцель выступил у нас в «Вечерних новостях» с нападками в адрес новых реалистов. Помните, он тогда и по Ойленбёку хорошо прошелся. Чудовищное несовпадение! Ну а теперь что? Как думаете?

— Да, что? — Смутно припоминаю Молькнера. Невысокий такой человечек, потливый, крайне нервный, лысый и с козлиной бородкой.

— А то, что теперь ему приходится перебиваться заработками вольного журналиста! — шепчет мне на ухо Цельнер, словно японским туристам ни в коем случае нельзя знать об обстоятельствах жизни Молькнера. — А бывший его помощник, Ланцберг, этот кусок дерьма, черкает ему

репортажи, которые тот посылает с каких-то провинциальных вернисажей. Вот бесстыдство! Можете мне поверить. В нашей профессии у людей нет ни стыда, ни совести!

Он прислушивается, кивает своим словам, внезапно вскакивает и снова хлопает меня по плечу.

— Прошу прощения, я нынче не в настроении. Моя матушка скончалась.

— Какой кошмар!

Он протискивается сквозь толпу японцев к дверям.

— А вы и рады всему верить!

— Так, значит, ваша матушка жива?

— Ну, по крайней мере, по состоянию на сегодня. — Оттеснив мужчину в маске, он выпрыгивает из вагона. Двери закрываются, поезд набирает ход, мгновение я вижу, как он мне машет, потом вокруг снова темнота.

Рядом со мной садится один из японцев, жмет маленькие кнопочки на своем фотоаппарате. На этой ветке метро нет ни одной достопримечательности, сейчас над нами тянутся лишь бесконечные промзоны у городской черты. Они, по всей видимости, едут не в ту сторону. Хорошо бы им кто-нибудь об этом сказал. Я закрываю

глаза и молчу.

Итак, я узнал, что художника из меня не выйдет. Я работал, как и прежде, но смысла в этом больше не было. Писал дома, луга, горы, портреты — выходило недурно, мастерства мне хватало, но что с того? Писал абстрактные полотна, композиции выходили удачными, сбалансированными, цвета были продуманы — ну а дальше-то что?

Что это значит — быть посредственностью? Этот вопрос больше не давал мне покоя. Как с этим жить? Зачем продолжать? Что это за люди такие, которые ставят на карту все, приносят свою жизнь в жертву искусству, идут на большой риск только для того, чтобы впоследствии год за годом не создавать ровным счетом ничего, что имело бы какое-то значение?

Разумеется, суть спора заключается в том, что его всегда можно проиграть. Но если так и происходит, то можно ли честно жить с этим дальше или приходится врать самому себе? Как вообще кому-то удается с гордостью представлять свои маленькие выставки, отслеживать редкие свидетельства своего признания и считать вполне естественным, что где-то существует мир, в котором все удается, но куда тебе входа нет, до которого тебе не дорасти? Как при этом найти

себе место в жизни?

— Начни писать о феномене посредственности, — посоветовал мне Мартин, когда мы сидели с ним в клуатре монастыря Айзенбрунн. И был прав: я мог бы стать историком искусства с довольно необычной специализацией. И вот я написал письмо Генриху Ойленбёку. Врать не врал, но и названия своей будущей диссертации — «Заурядность как эстетический феномен» — упоминать не стал. Рассказал лишь о том, как в одном старом каталоге мне по чистой случайности встретились его картины: крестьянские хутора Фландрии, пологие холмы, радостно бегущие реки, скирды сена на полях, выписанные по-настоящему хорошо, мощно, с душой. Вот оно — то, во что превратился бы я, мелькнуло у меня в голове. Закоснелый умелец, замкнутый на себе перфекционист. Вот какое будущее меня бы ждало. Вот кем я бы стал.

Он него пришел восторженный ответ, и я отправился в путь. В ту пору я был измотан быстротечным романом с одним французским хореографом, романом, полным страсти, криков, ссор, алкоголя, расставаний и воссоединений, и поездка пришлась весьма кстати. Долгие часы в одном поезде, в другом, переправа на пароме,

еще несколько часов в автобусе — и вот наконец я стою перед ним в его залитой светом мастерской. На окна бросают блики переливающиеся холодным блеском волны северных морей.

Ему было шестьдесят с небольшим; он оказался более статным, чем можно было ожидать, — элегантный мужчина с белоснежными усами, опрятно одетый, с тростью из слоновой кости: образованный, раскованный, шутник. Я планировал отправиться назад уже на другой день, но задержался. Задержался и на следующий, и еще на один, на целую неделю, на год и еще на один год. Я оставался с ним до конца его дней.

Огни метро съеживаются, сливаются в одно-единственное пятно и гаснут. Красота не нуждается в искусстве. Она и в нас-то не нуждается — ей не нужен зритель, даже наоборот. Зеваки словно оттяпывают от нее кусок — ярче всего красота вспыхивает там, где ее никто не видит: в пустынных, лишенных домов пейзажах, в игре облаков в сгущающихся сумерках, на красновато-серой, изношенной кладке старых стен, в голых деревьях, окутанных морозным туманом, в соборах, в солнце, отражающемся в маслянистой луже, в зеркальных окнах небоскребов на Манхэттене, во взгляде из окна самолета,

брошенном наружу сразу после того, как нос машины прорвал завесу облаков, в руках стариков, в море вне зависимости от времени суток, в безлюдных станциях метрополитена, совсем как эта — желтый свет, случайные узоры окурков на полу, ободранные плакаты, подхваченные потоком воздуха и все еще дрожащие, хотя поезд давным-давно скрылся из виду.

Эскалатор выносит меня на поверхность. Вокруг возникают ряды домов, над головой вырастает купол неба. Лето. Смотрю по сторонам — не только из осторожности, хотя район не из самых безопасных, но еще и потому, что живем мы всего однажды и видим всего однажды. Отбрасывают короткие полуденные тени мусорные баки. Мимо, растопырив руки, проезжает на скейте какой-то мальчуган, — он одновременно парит и замер в бесконечном падении. Один и тот же солнечный луч отражается высоко вверху в каком-то окне и здесь, на земле, в зеркале заднего вида припаркованного автомобиля. Темнеет пятно канализационного люка — квадратное, четкое и геометричное; в небе над ним, словно сознательное противопоставление, — расплывающиеся, неопределенные очертания белого облака. Я быстро отпираю дверь, вхожу и за-

крываю за собой. Старый лифт, подергиваясь, минуя этаж за этажом, уносит меня на чердак. На третьем — склад, которым изредка кто-то пользуется; другие части здания пустуют. Кабина со скрипом останавливается, я выхожу, открываю стальную дверь. Меня тут же окутывают запахи акрила, дерева и клея, насыщенный аромат пигментов. Как же хорошо, когда есть возможность поработать. Порой даже закрадывается мысль, что я мог бы радоваться жизни.

Никто не знает о существовании этой мастерской, никому и в голову бы не пришло, что я имею к ней какое-то отношение. Ее приобрел не я, а одна фирма, принадлежащая другой фирме, зарегистрированной на Каймановых островах, а та уже принадлежит мне. Если заглянуть в кадастровую книгу, то моего имени там не найти. Чтобы до него добраться, придется потратить много сил и времени. Земельный налог и плата за свет, воду, отопление автоматически списываются с анонимного счета в лихтенштейнском банке. Насвистывая, я вешаю пиджак на крючок, подворачиваю рукава, надеваю халат. У стены — около дюжины полотен, прикрытых тряпками, на мольберте перед ними — почти дописанная работа.

Счастье, что очки мне не нужны: зрение у меня такое же острое, как в былые годы. Рожден для того, чтобы видеть, осужден на то, чтобы смотреть. И вот я стою у холста и взираю на картину. Деревенская площадь во французской провинции. Посередине — скульптура, раскрашенная так ярко, что больно глазам: со всей очевидностью, Ники де Сен-Фалль. Большая, выше человеческого роста, пестрая женская фигура, воздевшая руки к небу. На небе ни облачка; на краю площади дети, придерживая велосипеды, окружили маленького мальчика, который плачет, закрывая лицо руками. Из окна выглядывает женщина, ее рот широко раскрыт — кого-то зовет. Из стоящей поодаль машины на нее устремил грозный взгляд мужчина. На краю площади, темнеет лужа — может быть, кровь, а может, и нет; к ней припала такса. Произошло что-то ужасное, а люди, кажется, стараются это скрыть. Если приглядеться чуть повнимательней, чуть углубиться в поиски улик, можно догадаться, что стряслось; по крайней мере, хочется так думать. Но стоит отойти, и детали пропадают из виду, остается лишь залитая солнцем площадь — живая, светлая, праздничная сцена. На огромных плакатах в стиле ранних семидесятых рекламируются пиво, сливочный

сыр, разные сигареты.

Работаю молча, только иногда слышу, как насвистываю какую-то мелодию. Не хватает лишь пары мелочей. Тишина мастерской обволакивает меня, словно какое-то вязкое вещество. Сюда не доносится шум большого города, даже жара, кажется, осталась снаружи. Так может продолжаться долго. Когда я потом думаю о часах, проведенных у холста, я почти ничего не могу припомнить — как будто сосредоточенность стерла их из моей памяти.

Вот здесь, наверху, немного высветлить, тут, внизу, добавить тень, чуть смягчить черты лица ребенка. На номерной знак посадить ржавое пятно. Нужно, чтобы было видно, как художник работал кистью, мазок должен быть толстый, как у старых мастеров! И вот посажено последнее светоносное пятно белил, оранжевого и охры, поставлен финальный акцент. Я отступаю назад, беру палитру, цепляю чуточку черного и стремительным движением ставлю в углу подпись и дату: *Генрих Ойленбёк, 1974*.

Когда я был молод, неопытен и заносчив, мне казалось, что мир искусства пронизан коррупцией. Сегодня я понимаю, что это не так. Мир искусства полон достойных людей, энтузиастов

своего дела, с горящими сердцами, преисполненными истины. Нет только, к сожалению, самого искусства как непогрешимого принципа.

Его не существует, как не существует Бога, не существует конца времен, вечности, воинства небесного. Существуют лишь работы, различающиеся по технике, форме и сути, и поток изливающихся на них мнений. Череда сменяющих друг друга ярлыков, которые в зависимости от духа эпохи навешивают на один и тот же предмет. Как много на свете Рембрандтов, которые когда-то считались вершиной его мастерства, а сейчас и вовсе Рембрандтом не считаются. Разве они от этого хуже?

«Разумеется, нет!» — поспешат воскликнуть профаны. Но тут тоже не все просто. Картина покажется вам совершенно иной, если выяснится, что ее написал не тот, кто вы думаете. Работа тесно связана с нашим представлением о том, кто, когда и ради чего произвел ее на свет. Ученик, перенявший у своего учителя все навыки мастерства и пишущий в точности, как он, все равно останется учеником, и, если бы полотна ван Гога были написаны зажиточным господином на поколение младше него, то их ценность была бы уже совсем иной. Или нет?

А все потому, что в реальности дело еще на порядок сложнее. Кто знает, кто такой Эмиль Шуффенекер? А ведь многие из тех работ, что мы высоко ценим как полотна ван Гога, созданы именно им. Это уже с давних пор не тайна, но разве пострадала от этого репутация самого Винсента ван Гога? Целый ряд ван Гогов — не ван Гоги, целый ряд Рембрандтов — не Рембрандты, и я был бы изрядно удивлен, окажись вдруг, что все Пикассо — действительно Пикассо. Не знаю, можно ли считать меня фальсификатором — это, как и многое в жизни, сильно зависит от того, что мы под этим словом понимаем. И все же: самые известные полотна Ойленбёка, те, на которых зиждется его слава, созданы одной и той же рукой — моей. Но я этим вовсе не горжусь. Мнение мое осталось неизменным: я не художник. И то, что мои работы висят в музеях, нельзя считать ни моей заслугой, ни пятном на репутации музейных сотрудников.

Все музеи доверху набиты подделками. И что с того? Происхождение всего и вся в этом мире можно поставить под сомнение. Что до искусства, то за созданием произведения не стоит никакого волшебства, это не ангел пролетел, коснувшись крылом своим великих творений. Произведе-

ния искусства — такой же продукт, как любой другой: какие-то удались на славу, какие-то нет, но все они — творение рук человеческих. И то, что некоторые из этих произведений связаны с именами тех или иных людей, то, что одни продаются дороже, а другие дешевле, что слава некоторых прогремела на весь мир, а большая их часть не известна никому, — все это зависит от множества факторов, но высшие силы здесь ни при чем. И подделка тоже вовсе не должна быть исключительно удачной, чтобы исполнить свое предназначение: может статься, что высочайшего уровня имитацию разоблачат, а менее совершенную по исполнению повесят на стену и будут ей восхищаться. Фальсификаторы, гордящиеся своим трудом, точно так же, как профаны-зрители, переоценивают суть этого мастерства: ремеслу может обучиться всякий, кто приложит достаточно усилий и имеет определенные задатки. И то, что уровень мастерства утратил главенствующее положение в искусстве, не лишено смысла; не лишено смысла то, что идея, стоящая за произведением, стала важнее самой работы; авангардисты вот уж сколько времени твердят, что музеи — это те же храмы, только сумевшие преодолеть собственные гра-

ницы и выйти на иной уровень, и в этом они давным-давно правы.

Но, приехав в город, скучающий гость хочет куда-то пойти, скоротать длинный вечер, и, не будь музеев, путеводители стали бы изрядно тоньше. А поскольку музеи должны существовать, им и выставлять что-то нужно, и это все-таки должны быть произведения, а не идеи; так же и коллекционеры хотят вешать что-нибудь у себя на стены, а вешать картины гораздо сподручнее, чем стоящие за ними откровения. И хотя однажды один особенно ироничный человек все же умудрился протащить в музейное пространство писсуар, чтобы подшутить над самой институцией, над преклонением перед искусством, над окружающим его ореолом святости, но и он стремился к деньгам и славе, и, уж конечно, к тому, чтобы им восхищались, как издревле восхищались теми, кто был до него. Поэтому копия этого писсуара так и стоит на своем постаменте, окруженная ореолом святости и преклонением перед искусством. Несмотря на то что гипотеза о храме, превозмогшем свою ограниченность, верна, музей вышел из этого спора победителем — люди приходят и восхищенно взирают на писсуар, а теоретическими вопросами все больше задаются

студенты под конец первого курса.

Я часто размышляю о роли художника во времена Средневековья. Средневековые мастера не подписывали своих работ, они были ремесленниками, состояли в гильдиях, их миновал опасный вирус, зовущийся завышенным самомнением. Можно ли сегодня трудиться, как трудились они, — можно ли работать, не задаваясь мыслью о собственной важности? Анонимность тут не поможет: это всего лишь хитрое укрытие, где можно спрятаться, всего лишь иная форма того же самомнения. Но вписать свое творчество в работы, подписанные именем другого, — да, такая возможность есть, этот прием действует. И каждый день я не перестаю удивляться тому, что именно это и делает меня счастливым.

Мысль эта посетила меня уже на третий день нашего знакомства. Генрих спал рядом со мной в постели, по потолку плясали блики, отбрасываемые морскими волнами, и я вдруг понял, как могу сделать из него знаменитого художника. Мне ясно виделось то, чего ему не хватало, что сделало бы его особенным, — что мог бы сделать я. Он хорошо смотрелся бы на голубом экране, на журнальных фотографиях, давал бы блестящие интервью. Единственной проблемой были все

эти хутора. Тут потребуются определенные дипломатические навыки.

Прошла пара недель, и я впервые затронул в разговоре эту тему. Мы как раз смотрели его ранние вещи: крестьянский двор со стогами сена, крестьянский двор и крестьянин с косой, крестьянский двор, выстроившееся перед домом угловатое, коренастое семейство, петух, навозная куча, облака.

— Предположим, можно прославиться, если, в виде исключения, постараться соответствовать определенным требованиям и своевременно под них подстраиваться. Что тогда? Да, это была бы насмешка в адрес мира, который вполне заслуживает того, чтобы над ним насмехались, но в то же время это позволило бы добиться заслуженного уважения. Что в этом было бы плохого?

— Лишь то, что уважение в этом случае было бы незаслуженным. — Он стоял передо мной, убежденный в своей правоте, как может быть убежден только проигравший. Узкое лицо, тонкий нос, блеск в глазах, копна седых волос, грубая шерстяная куртка с серебряными пуговицами — он словно создан был для обложки журнала.

— Это было бы преступлением без жертв, — парировал я. — Никто ничего не теряет.

— Ты сам при этом кое-что теряешь.

— Что же? Свою душу? — Я вытянул руку, указывая на крестьянские дворы. — Или искусство?

— И то и другое разом.

«Но ни того, ни другого не существует», — хотел было ответить я, но промолчал. Вот, значит, как надо себя вести: гордо. И гордость позволит стерпеть то, что ты всего-навсего посредственность.

— А если видеть в этом… Скажем так, эксперимент, некий опыт? Если не придавать столь огромного значения себе и искусству?

Мы рассмеялись, но при этом оба понимали, что я говорю всерьез.

— Что, если решиться на некий жест? — спросил я еще неделю спустя. — Сотворить пару полотен в расчете на то, что они понравятся тому, кому должны понравиться. И приписать их тебе. А потом объявить во всеуслышание, что это была игра.

— Было бы, по меньшей мере, забавно, — задумчиво произнес он.

Первые три картины были уже мной написаны. Вид бульвара в Малаге, изуродованного скульптурой Дали, изображенный в духе блеклого реализма Сурбарана; пешеходная зона немецкого городка, умытая проливным дождем, утопающая

в тени, как на полотнах позднего Рембрандта, и «Скорбные элегии № 3», доныне одна из самых известных его работ, — музейный зал невероятной высоты, вдоль стен которого в витринах выставлены грозные конструкции из войлока и жира, а посередине — грустный, сбитый с толку маленький мальчик возле строгой учительницы, воодушевленно занимающейся его эстетическим образованием. Пастозные мазки, в щелях и пробелах между ними проглядывает белый холст.

— Знакомьтесь: Генрих Ойленбёк, — провозгласил я, демонстрируя ему работы. — Аристократ-отшельник, гордый маргинал, с пренебрежением следящий за развитием искусства в эпоху, в которую он живет, не упускающий ни малейшей новой тенденции. На многих полотнах, где чувствуется тонкая ирония мастера, встречаются произведения какого-нибудь его современника, которого он считает ничтожеством. Он все видел, все знает, все взвесил и счел чересчур легкомысленным.

— Но я никакой не аристократ. У моего отца была небольшая фабрика в Ульме; когда мне было двадцать, я ее продал.

— Ты сам будешь подписывать свои произведения?

Он призадумался, потом сказал:

— Может быть, у тебя и это получится лучше, чем у меня.

Действительно, подделать его подпись было несложно. Я поставил ее на всех трех вещах, сделал снимки и отправил их вместе со статьей о том, как я открыл для себя творчество этого своенравного аутсайдера, своему бывшему соученику Барни Уэслеру, который тогда как раз готовил большую групповую выставку во франкфуртском «Ширне» под названием «Реализм на рубеже тысячелетий». Он тут же загорелся желанием их выставить. На второй день после вернисажа в газетах вышли две обширные статьи, в которых восторженно расхваливалось творчество Ойленбёка: одна — за авторством известного специалиста по Максу Эрнсту, другая — моя. Мы оба назвали его открытием года. Вскоре в мастерской Генриха появился молодой человек, писавший для журнала «Тексте цур кунст». Месяц спустя было опубликовано интервью под заглавием «Для меня искусство — это храм», снабженное фотографией, с которой Ойленбёк смотрел с непередаваемым благородством и снисхождением. Еще одно интервью вышло в «Штерне». Семь страниц одних фотографий: Генрих у зубчатой

кромки старой крепостной башни, Генрих на борту яхты, за рулем спортивного автомобиля (притом, что машину он не умел водить вообще), Генрих в библиотеке, Генрих, зажавший во рту мундштук китайской трубки. Картин Генриха не было видно нигде.

Я никогда еще не встречал человека, способного столь безукоризненно играть свою роль. «Уорхол? Да просто рекламщик!» — «Лихтенштейн? Вы имеете в виду страну или этого шарлатана?» — «Бальтюс? Больший китч можно встретить только в календаре с котиками!» — «Климт? Апофеоз ремесленничества!» Такие фразы нравились всем. Он повторял их в десятках интервью, в газетах, на телевидении, на открытиях своих выставок, на презентации книги Лероя Хэллоуэна «Ойленбёк, или Великое отрицание»; повторил он их — слово в слово, уверенно, ни в чем не отклоняясь от текста — и в короткой документальной ленте Годара «Ойленбёк: я, великий».

— Ну и когда же мы расскажем правду? — спросил его я.

— Наверное, пока подождем.

— Сейчас как раз самый подходящий момент.

— Да, возможно, но все-таки…

Я ждал, но он так и не кончил фразы. Мы сидели

в одном парижском ресторане, и, как в последнее время бывало уже довольно часто, я видел, как дрожат его руки; ложка то и дело касалась его губ, растеряв по дороге суп. Похоже, он уже и не помнил, о чем мы только что говорили.

Потом увидела свет моя диссертация. Название я поменял — теперь оно звучало следующим образом: «Генрих Ойленбёк. От традиционной иронии к ироническому реализму». На 740 страницах мной излагалась история насмешника-одиночки, овладевшего всеми техниками европейской живописи, которому было суждено родиться слишком поздно и найти свой собственный путь в искусстве лишь под конец жизни.

Разумеется, отдать дань уважения крестьянским хуторам тоже пришлось. За минувшее время и у них обнаружились почитатели: для некоторых коллекционеров они служили доказательством того, что красота и простота еще не окончательно утратили ценность, кто-то рассматривал их как замаскированную сатиру. Я подробно изложил основания обеих точек зрения, стараясь не вставать ни на одну из сторон: истинное богатство палитры заключается в амбивалентности, то есть в том обстоятельстве, что художник в своем стремлении к возвышенному

пафосу — в гегельянском смысле этого слова — иронизирует над иронией и насмехается над насмешкой.

— Ну и когда же мы расскажем правду? — спросил я вновь.

Мы сидели в гостиничном номере в Лондоне. В окно барабанил дождь, на тележке стоял нетронутым заказанный в номер завтрак, по телевизору принимал парад Саддам Хусейн. У стены стояла трость из слоновой кости, рядом с ней — серебряная клюка, которую я ему недавно преподнес: одной опоры для ходьбы ему уже не хватало.

— Ты еще так молод. Тебе не понять.

— Чего мне не понять?

— Просто не понять.

— Но чего именно?

Я смотрел на него и был потрясен: еще никогда на моих глазах не плакал взрослый. Я такого не ожидал. Естественно, я знал, что он никогда не сделал бы и шагу назад, в безвестность, но что в этом было такого плохого? Честное слово, я не понимал.

Он был прав. Я и впрямь был еще слишком молод.

Спустя полгода после того, как Генрих принял решение остаться художником, за которого его

принимали, продолжать выставляться, давать интервью, продавать картины и купаться в лучах славы, меня навестил отец.

Мы сидели в мастерской, занятый каждый своим делом. Я строчил на своем новом компьютере статью «Реализм как инструмент идеологической критики в творчестве Генриха Ойленбёка», Генрих дрожащей рукой чиркал в альбоме. За этим занятием он мог просиживать часами, и порой из этого даже выходили какие-то наброски. Тут зазвонил телефон, и Артур, не потрудившись объяснить, откуда у него этот номер, сообщил, что он сейчас поблизости и мог бы ко мне заглянуть.

— Ты имеешь в виду — прямо сейчас?

— Да, сейчас, — как всегда, в его голосе слышалось изумление от того, что сказанное им меня изумляет. — Я не вовремя?

Полчаса спустя он стоял на пороге мастерской и казался каким-то усталым и потрепанным — плохо выбритым, вспотевшим. Генрих приветствовал его величаво, по-хозяйски, размашистыми жестами, повторяя «Добро пожаловать!», и «Наслышан, наслышан о вас!», и «Какая радость!», и «Какая честь для меня!», на что отец мой реагировал вежливо, но не без сдержанной иронии. Мы сели за стол, экономка принесла

наспех разогретую в микроволновке еду. Глаза Артура блестели, когда он слушал, как Генрих рассуждает об Уорхоле — «Рекламщик!» — и Лихтенштейне, о Бойсе и Каминском. К сожалению, у него вошло в привычку сыпать этими фразами даже тогда, когда на него не был нацелен микрофон. Генрих подробно описывал свою встречу с Пикассо, и я, знавший, что этой встречи никогда не было, вынужден был встать и удалиться, чтобы не оборвать его на полуслове.

Когда я вернулся, он описывал вернисаж, устроенный ему недавно его нью-йоркским галеристом Варсински: кто был, что потом писали критики, какие картины были проданы и по какой цене. Усы его дрожали, нижняя губа подергивалась, а когда он хотел придать своим словам больше весу, то хлопал ладонью по столу.

Чтобы сменить тему, я спросил у Артура, над чем он работает. Я знал, что таких вопросов он не любит, но все было лучше, чем слушать россказни Ойленбёка.

— Наверное, в итоге снова получится детектив. Классическая «загадка запертой комнаты». Для тех, кто любит загадки.

— А разгадка-то будет?

— Разумеется! Просто ее никто не заметит. Я

очень хорошо ее спрятал.

— А в «Семье» она тоже где-то глубоко спрятана?

— Нет. В «Семье» разгадка заключается в том, что спрятанной в тексте разгадки не существует. Никакого разъяснения, никакого скрытого смысла. Речь именно об этом.

— Но ведь это вовсе не так! Точнее, это так, только если так это подавать. Если смотреть на жизнь, приняв за опорную точку смерть, вся жизнь — это сплошной кошмар. Если подводить итоги так, как это делаешь ты, жизнь представляется совершеннейшей катастрофой.

— Потому что это и в самом деле так.

— Не совсем. Не только так. Такие вечера, как сегодняшний, такие места, как это… — неопределенным жестом я обвел рукой наш стол, окно, море за ним, Артура, самого себя, Генриха. — Все преходяще. Но это вовсе не значит, что счастья не существует. Наоборот, счастье важнее всего. Все дело именно в этих мгновениях, в *хороших* мгновениях нашей жизни. Ради них и стоит жить.

Артур хотел было возразить, но Генрих его опередил. У него вопрос: что имел в виду автор, когда сочинял ту ерунду, где написано, что его, читателя, не существует? Так ведь было сказано в

той книге? Сказано было, что его не существует! Но вот же он. Вот он, сидит здесь!

— Трудно поспорить, — ответил Артур.

— Но серьезно, это же абсурд!

Меня удивило, что Генрих так распалился. Я и не знал, что он читал «Я называюсь Никто», мы никогда этой темы не касались.

— Не стоит так выходить из себя, если что-то кажется абсурдным, — произнес Артур. — Это же просто книга.

— Не увиливайте! Вы что, хотите сказать, что меня не существует?

— А если и так?

— Но вы не имеете права так рассуждать!

— Может, не надо?.. — Артур перевел взгляд на меня.

— Ты о чем?

Он лишь повторил мой жест — обвел рукой наш стол, окно, море за ним, самого себя, меня, Генриха.

Какое-то время мы молчали. Я слышал, как свистит дыхание Ойленбёка, и мог только надеяться, что он не понял.

— Жизнь пролетает быстро, Ивейн. И если не относиться к себе с должным вниманием, то растратишь ее на глупые пустяки.

— Тебе видней.

— Верно, мне видней.

— Немедленно покиньте мой дом! — произнес Генрих.

— Неужто и картины за него пишешь? — спросил отец.

И вновь ненадолго воцарилась тишина.

— Немедленно покиньте мой дом, — прошептал Генрих, прервав молчание.

Артур усмехнулся.

— Невероятно! Ты пишешь за него картины, и никто этого не замечает?

— Вон отсюда! — Ойленбёк поднялся. — Вон! — его голос дрожал, но при необходимости он еще мог придать ему звучность и силу. — Вон! — повторил он и указал на дверь.

Провожая отца в прихожую, я пытался найти нужные слова, хоть что-нибудь, что можно было бы после такого сказать.

— Когда мы увидимся снова? — спросил я наконец.

— Скоро, — тон его не внушал уверенности. Он похлопал меня по плечу — и в следующий же миг растворился.

Снимаю халат, мою руки. Вода прозрачна и светла, в стоке вихрится водоворот стекающей

краски. Чувствую то ли отчаяние, то ли гордость, то ли даже какое-то беспокойство — как всегда, когда заканчиваю очередное полотно. Но что может случиться? Когда бы ни зашла речь о подлинности очередного Ойленбёка, последнее слово будет за одним человеком, — председателем Фонда Ойленбёка, единственным наследником художника, то бишь за мной.

Название этой картины много лет значится в каталогах: «Фотография из отпуска № 9». Я упомянул ее в одной из статей еще в конце девяностых, и вот уже пять лет в архиве Национальной галереи находится досье с провенансом полотна, на котором изображена площадь во Франции и скульптура Ники де Сен-Фалль. Архивы принимают все меры предосторожности, чтобы из них чего-нибудь не унесли, однако никто не мешает тебе что-нибудь туда пронести. Пройдет полгода, и галерея Джона Варсински выставит «Фотографию» на продажу — но прежде правление Фонда Ойленбёка должно будет указать на это примечательное обстоятельство узкому кругу значимых коллекционеров. Все они обратятся к досье, чтобы ознакомиться с провенансом картины, затем галерея попросит Фонд вынести экспертное заключение относительно подлинности. Все

понимают, что сам председатель Фонда эту картину и продает, однако это никого не смущает. Это часть игры. А кого бы это смутило? Никого ведь данное обстоятельство под удар не ставит. После тщательной проверки Фонд поставит на картине свою печать — с одной стороны, ввиду безупречного провенанса, ведь из собственности автора она перешла непосредственно в собственность наследника, с другой — ввиду абсолютной узнаваемости стиля ее создателя. И еще один аргумент: ведущий специалист по творчеству Ойленбёка, то бишь я, еще много лет тому назад назвал эту работу одним из шедевров мастера, к сожалению, недостаточно известным широкой публике.

И все же я проявляю осторожность. Дважды я отклонил полотна, мной же написанные, в другой раз признал подлинной явную фальшивку, смастеренную каким-то халтурщиком. У меня нет непоколебимого авторитета; считается, что в своих оценках я достаточно неровен. Коллекционеры боятся меня, как боятся и галеристы, их часто возмущает непредсказуемость моих решений, меня нередко высмеивают, считают совершенно некомпетентным. Никто ничего не заподозрит.

Внизу, на улице какой-то мужчина толкает перед собой тачку с песком. Навстречу ему — трое молодых людей в кепках. Они останавливаются, провожают его взглядом, словно песок представляет собой нечто в высшей степени интересное, затем с нарочитой небрежностью, которая может быть лишь у тех, кому еще не стукнуло двадцати, облокачиваются о стену, дают друг другу прикурить. Проезжают два автомобиля, затем еще один, затем еще два — интервалы между их появлениями равны; что, если это азбука Морзе? Что, если код Вселенной можно было бы расшифровать? Может быть, это и скрывается за поразительной красотой вещей: мы видим, что нам что-то пытаются сообщить. Мы владеем нужным языком. И все равно ни слова не понимаем.

Жаль, что ты меня не слышишь, бедняга Генрих. Людям, разговаривающим с мертвецами, нравится думать, что рядом кто-то есть, что они это чувствуют. У меня такого чувства не возникает никогда. Даже если допустить невозможное — что ты продолжаешь существовать, невидимый, бесплотный, освобожденный от бремени, наши дела не имеют для тебя никакого значения. Ты не стоишь возле меня у этого окна, не глядишь мне через плечо, а когда я говорю с тобой, не

отвечаешь.

Так зачем же я с тобой говорю?

Еще при жизни он перестал меня понимать. Последние полгода практически не вставал с постели, иногда с ним случались приступы беспричинной ярости, иногда его одолевал смех, он негромко хихикал. Я же тем временем писал «Съемки французского фильма», «День Страшного суда» и «Сцену на рынке близ Барселоны». Время от времени он возникал у меня за спиной, смотрел. «Сцена на рынке» нисколько его не интересовала: она изображала напряженный эпизод торгов в аукционном доме, взгляды публики устремлены на ведущего, тот вот-вот опустит молоток — на кону монохромное синее полотно Ива Кляйна. Глядя на «Судный день» — скомканный газетный лист, вырванный — что было совершенно узнаваемо — из художественного обозрения в «Нью-Йорк Таймс», выписанный реалистично, со всеми деталями: справа воспевается биография Билли Джоэла, слева разгромная критика на сборник стихов Иосифа Бродского, — он усмехался себе под нос; и только «Съемки французского фильма» заставляли его пускать пузыри от радости: алтарный образ; в самом низу — прожектора, волонтеры с мотками кабелей

в руках, статисты; ступенькой выше — выстроившиеся амфитеатром операторы; еще выше — замершие в благоговении актеры, а на самом верху — режиссер в солнечных очках, слева и справа от которого, аки архангелы, высятся двое продюсеров. Мне эта работа никогда не нравилась, я с самого начала считал ее плоской, да и с точки зрения техники ничто в ней не прельщало, слишком уж близка она была к обычной карикатуре — но именно ей суждено было стать работой, наиболее известной широкой публике, не в последнюю очередь потому, что режиссер был похож на Годара. Варсински удалось продать ее за миллион, четыре года спустя я выкупил ее за полтора, чтобы из-под полы перепродать туркменскому коллекционеру за три. Надеюсь никогда ее больше не увидеть.

В какой-то момент он перестал вставать, лежал в кровати при включенном телевизоре и бормотал что-то себе под нос. Чаще всего он снова и снова рассказывал один случай из его далекой молодости: в нем фигурировала какая-то попойка, солдаты брали друг друга на слабо, играли в русскую рулетку. Эту историю я слышал каждый день, вливая ему в рот куриный бульон, водя его в туалет, поправляя ему подушки и укрывая его,

как ребенка. Он весь словно съежился, взгляд его помутнел, а однажды он вдруг как будто позабыл и свой излюбленный рассказ. Я часто сидел на краешке его кровати и думал, действительно ли тот Генрих, которого я знал, по-прежнему скрывается в этом скукоженном существе.

Но краткие прояснения еще бывали. Однажды я застал его сидящим в постели, он повернулся ко мне и, как мне показалось, вроде бы даже меня узнал, спросил, когда же мы полетим в Париж. Дал мне совет иногда заниматься и своей живописью. Да, так и сказал: «своей тоже». Потом, улыбнувшись обманчиво-всеведущей улыбкой черепахи, он вновь погрузился в себя, по его подбородку побежала тоненькая струйка слюны, а когда я начал менять простыни, выражение его лица уже было таким пустым, будто с его губ уже целую вечность не слетало ни слова.

В другой раз он вдруг попросил назвать ему номер его счета. Пришлось мне написать его на листочке, так как он хотел позвонить в банк, а когда я попытался объяснить ему, что в два часа ночи это невозможно, впал в отчаяние, стал кричать, умолять, угрожать. Я все-таки принес ему телефон, но к тому моменту он уже не понимал, зачем.

Я часто слышал его голос во сне и, проснувшись и увидев, что он похрапывает рядом со мной, еще несколько минут пребывал в уверенности, что он действительно со мной говорил — но всякий раз, пытаясь вспомнить, о чем именно, восстановить я мог одно: что он о чем-то меня просил, а я соглашался. Но в чем заключалась просьба, я уже не знал.

Когда он был на смертном одре, я сидел рядом, не зная, что делать, испытывал какое-то умиленное смущение и спрашивал себя, как следует в такой момент поступать. Промакивал ему лоб — не потому, что в этом была необходимость, а потому, что это казалось мне уместным в данной ситуации, а он снова пытался мне что-то сообщить: губы шевелились, пытаясь что-то произнести, но голос его уже не слушался. Когда нашлись карандаш и бумага, сил писать у него не было. Какое-то время он безмолвно глядел на меня, словно пытался передать мне свое послание силой мысли, но не вышло — взгляд его угас, грудь опала, и в голове у меня мелькнула мысль: «Вот, значит, как оно бывает, вот, значит, как. Вот».

С тех пор на рынке регулярно всплывают неизвестные Ойленбёки. В руках другого наследника

дело могло бы принять неблагоприятный оборот, но семьи у Генриха не было. Не объявилось ни тетки в Америке, ни четвероюродного брата — кроме меня, к счастью, ему никто не наследовал.

Пора идти: управлять наследством — работа на полную ставку. Сегодня меня ждут еще встреча за чашкой кофе, ужин, а потом второй ужин: обсуждения, планы, опять обсуждения. В нерешительности гляжу на улицу; трое подростков как раз собрались уходить. К ним приближается четвертый, блондин в красной рубашке, те его окружают.

Отвернувшись от окна, бросаю еще один взгляд на «Фотографию из отпуска № 9», словно вижу ее в первый раз. Краскам, которыми я пишу, больше трех десятков лет, как и холстам; это — один из тех, что я приобрел еще при жизни Генриха и поставил у него в мастерской. Их касалась его рука, так что, если когда-нибудь за дело возьмется судмедэксперт, он обнаружит на картине отпечатки пальцев мэтра.

Открываю дверь, выхожу, запираю за собой. Лучшая часть дня позади, впереди лишь болтовня и управленческие обязанности. Подрагивая, лифт уносит меня вниз.

Выхожу на улицу. Ну и ну, ничего себе, какая

жара. Там, впереди, четверо молодых людей, но я вижу лишь очертания — так слепит меня яркое солнце, не позволяя сосредоточить взгляд ни на одном из них. Надо только добраться до метро — внизу, в подземке, будет попрохладнее. Я бы не прочь вызвать такси, но вот телефонные будки уже давным-давно демонтировали. На такой случай было бы полезно иметь мобильник.

Что-то не так. Ребята ссорятся. Трое окружили четвертого, один из них хватает его за плечо и бьет, другой, подхватив сзади, вновь толкает вперед. Его взяли в кольцо. А мне мимо идти.

Я уже могу расслышать, что они говорят, но понять трудно — обрывки слов не складываются в осмысленные фразы. Мое сердце стучит, но вот удивительно: внезапно я уже не чувствую жары, и голова проясняется. Наверное, вот они, древние механизмы сознания, включающиеся при столкновении с насилием. Свернуть ли мне и пойти в другую сторону или пройти мимо как ни в чем не бывало? Впечатление такое, что они не обратят на меня внимания, поэтому я продолжаю путь. «Я тебе голову оторву!» — кажется, кричит один из них, снова толкая того, что в центре, а другой, отталкивая налетевшего на него парня обратно, выкрикивает нечто вроде «Это *я* тебе

голову оторву!» — хотя, возможно, это что-то совсем другое. Мне хочется крикнуть тому, кого бьют: эй, слушай, бросай это дело, их трое, а ты один, сдавайся! Но он довольно высокий, мускулистый, с широким подбородком, а взгляд у него — проходя, я успеваю мимоходом заглянуть ему в глаза, — глуповато-пустой. И поскольку они уже начали толкаться, бесконечно это продолжаться не может, и один из троих заносит кулак и ударяет того, что стоит посередке, по голове.

Но тот не падает. Наверное, в реальной жизни человек вообще не брякается наземь сразу после того, как ему врежут. Он просто склоняется вперед, закрыв лицо руками, а тот, кто его ударил, скуля, потрясает в воздухе кулаком. Это должно смотреться забавно, но отчего-то так не выглядит.

Вот я их и миновал. Они не обратили на меня внимания. Слышу позади крик. Иду дальше. Не оборачиваюсь. Еще один крик. Давай же, просто иди. Но я все-таки оборачиваюсь.

Проклятое любопытство! Все мне надо увидеть, обязательно надо увидеть, и это в том числе. Теперь их всего трое, тот, что стоял в середине, исчез — как по мановению волшебной палочки, проносится у меня в голове. Они как будто

танцуют — один делает шаг вперед, другой назад; проходит несколько секунд, прежде чем я осознаю, что тот, кого они окружали, не исчез, а лежит на земле, а они все лупят, и лупят, и лупят его ногами.

Замираю на месте.

«И что ты замер?» — спрашиваю я себя. Сматывайся скорее, пока они не поняли, что ты — свидетель расправы! Да-да, именно так и думаю: «Только бы не оказаться свидетелем!» — словно речь о каких-то мафиозных разборках, а не о драке пары-тройки юнцов. Смотрю на часы: без нескольких минут четыре. Убеждаю себя, что мне надо срочно уносить ноги, такое тут наверняка часто случается, придется мириться с подобными картинами, если хочешь держать никому не известную мастерскую в самом что ни на есть неблагоприятном районе города.

А они тем временем продолжают колотить лежащего на земле. Я вижу лишь скрюченную тень, мешок, из которого растут руки и ноги. «Немедленно убирайся! — говорю я себе в приказном порядке. — Довольно любопытствовать! Исчезни!» Итак, я продолжаю путь. Шаг, другой, третий — достаточно быстро, но так, чтобы не казалось, будто я бегу.

Вот только иду я не в ту сторону, в которую надо, а назад, прямо на них. Никогда в жизни у меня еще не было такого сильного ощущения раздвоенности — я одновременно и тот, кто шагает вперед, и тот, кто тщетно пытается заставить его повернуть вспять. И я понимаю, что мной движет отнюдь не только любопытство. Что я собираюсь вмешаться.

И вот я уже приближаюсь к ним. Не так быстро, как мне сначала казалось, потому что с каждым шагом я чувствую, как время течет все медленнее: сначала преодолеваю половину пути, отделяющего меня от них, затем половину оставшейся половины и вновь половину половины, как черепаха в старинной притче, — меня вдруг охватывает такое чувство, что я почти могу поклясться, что не доберусь до них никогда. Вижу, как мелькают туда-сюда их ноги в тяжелых ботинках, как вздымаются и опускаются руки, вижу искаженные усердием лица; вижу, как блестит на солнце телевизионная антенна высоко над нашими головами, как летит над ней самолет, как спешит вдоль трещины на асфальте крошечный бесцветный жук, но не вижу ни прохожих, ни проезжающих машин — мы здесь одни, нас пятеро, и если я не вмешаюсь, то не вмешается

никто.

Вот в такой ситуации, кстати, впрямь не помешало бы иметь телефон. Я продолжаю идти. От половины пройденной дистанции останется еще половина, а от той еще, и еще, и я вдруг понимаю, что время не просто бесконечно тянется — оно еще и обладает неограниченной плотностью, ведь между моментом, наступившим сейчас, и тем, который наступит следом, помещается бесконечная череда других моментов; так разве время может когда-нибудь пройти?

Они не обращают на меня внимания; я еще могу повернуть вспять. Парень, лежащий на земле, закрыл лицо руками, поджал ноги, сгорбился. Мне становится ясно, что это, по-видимому, тот момент, когда мне предоставляется последний шанс пойти на попятную. Я останавливаюсь и сипло говорю: «Оставьте его в покое!»

Они не обращают на меня внимания; я все еще могу повернуть вспять. Но вместо этого слышу, как то мое «я», которое не слушается другого, умоляющего его держать рот на замке, во весь голос повторяет: «Оставьте его в покое! Прекратите!»

Они не обращают на меня внимания; что же мне делать? Вступиться — об этом даже речи не идет, ничего подобного от меня ожидать не

приходится. И я уже готов отвернуться с облегчением, но именно в этот момент они замирают, все трое разом, словно это у них отрепетировано заранее. И смотрят на меня.

— Чего? — спрашивает тот, что повыше других. На щеках у него темнеет пробивающаяся бородка, в носу тонкое кольцо. На футболке надпись «bubbletea is not a drink I like». Он пыхтит, как после тяжелого труда.

Тот, что рядом с ним, — у него на майке надпись «MorningTower», — тоже спрашивает:

— Чего?

Голос у него дрожит, он растягивает слоги.

Третий просто молча глядит на меня. На его футболке полыхает огненно-красная буква «Y».

Тот, что на земле, лежит, не шевелясь, тяжело дышит.

Теперь все зависит от меня. Мне нужно сказать что-то, что их остановит, найти верные слова, фразу, которая поможет все прояснить, снизить градус напряженности, решить проблему, сделать как лучше. Говорят, от страха начинаешь думать быстрее, но что-то я ничего такого не чувствую. Сердце стучит, в ушах шум, улица медленно вращается перед глазами. Я и не знал, что можно так испугаться, такое чувство, как будто я

еще ни разу в жизни не боялся, как будто это мой первый опыт. Ведь только что все было в порядке, я был там, наверху, за железной дверью, в атмосфере полной безопасности. Неужто и впрямь все может так резко измениться, неужто все может так скоро кончиться плохо? В голове проносится: сейчас не время задаваться такими вопросами, нет времени, надо найти нужные слова! Думаю: может быть, бывают на свете ситуации, для которых вообще нельзя найти правильных слов. Такие, в которых слова уже ничего не значат, в которых фразы рассыпаются, разговоры ни к чему не приводят, потому что нет никакой разницы, что ты скажешь. Думаю: перестань же, наконец, думать! И еще думаю, что…

Тут тот, который «bubbletea is not a drink I like», делает шаг ко мне и повторяет, но уже с другой интонацией — в его голосе больше не звучит ни вопроса, ни удивления, только чистой воды вызов:

— Чего?!

— Он больше не выдержит, — говорю я. — Он даже пошевелиться не может. Вы его добили.

«Недурно, — думаю. — Что-то в голову еще приходит».

— Вы намного сильнее, — продолжаю я. — У

него нет никаких шансов. Зачем тогда все это?

— Ты-то кто вообще такой? — это уже не «bubbletea is not a drink I like», это тот, что «Y». От него я такого не ожидал. Вид у «Y» был вполне безобидный, такой, словно его просто с собой прихватили, как группу поддержки, он казался едва ли не другом.

— Я… — моего голоса почти не слышно. Откашливаюсь; так лучше. — Никто.

Старинный ответ Одиссея, множество раз прошедший проверку ситуациями наподобие этой.

— Я — никто.

Они продолжают пялиться на меня.

— Если он умрет, вам дадут пожизненное.

И тут же понимаю, что это было ошибкой. Во-первых, он не умрет, во-вторых, еще никому младше двадцати лет пожизненного не давали — ополчится целый строй адвокатов, судей и специалистов по делам несовершеннолетних, чтобы такому молодому человеку не сломали жизнь окончательно, это я знаю от своего брата-священника. Но, возможно, они этого не знают; тогда мне повезло.

— Вы сами себе вредите. Наверняка полиция уже в пу…

Улица, небо, голоса, тени надо мной вновь

постепенно складываются в целую картину. Я полулежу на земле, облокотившись о стену. Голова трещит. Наверное, я потерял сознание.

Оставайся на месте! Ты уже достаточно себя проявил. Всеми святыми, всеми чертями, всей красотой мира тебя заклинаю, сиди и не шевелись!

И поднимаюсь на ноги.

Как странно: обычно в минуту опасности люди оказываются трусливее, мелочнее, жальче, чем даже самим себе кажутся. И это нормально, так и должно быть, чего-то такого и ждешь. Пребываешь в полном убеждении, что при первом же случае затрясешься, как осиновый лист. И вот — нате вам. Ивейн Фридлянд, эстет, куратор, денди, решил проявить себя как герой. Только этого мне не хватало.

Я встаю. Одной рукой опираюсь о стену, другой пытаюсь удержать равновесие. Теперь уже и говорить ничего не надо — одного того, что я имею дерзость стоять на ногах, вполне достаточно: они пристально на меня смотрят.

— Так ты кто такой? — повторяет «Y».

— Мне бы самому знать, — бывает, что в сложной ситуации получается отшутиться.

— Ты че, совсем того? — спрашивает «Y».

А тот, что «bubbletea is not a drink I like», словно это как-то открыло ему глаза на происходящее, вдруг говорит:

— Убирай, Рон. Он того.

Тут я вижу, как в руке у того, что «MorningTower», что-то мелькнуло, что-то маленькое и зло сверкающее серебром. Все намного серьезнее. Если до этого мне казалось, что положение и так достаточно серьезное, я ошибался — серьезное только начинается.

— Вы собираетесь его убить? — спрашиваю я. Но о нем они уже давно забыли.

— Заткни варежку, Рон, — отвечает тот, что «bubbletea is not a drink I like», тому, что «MorningTower».

— Нет, Рон, это ты варежку заткни, — огрызается «Y».

Наверное, у меня в голове что-то помутилось, не может же так быть, что их всех одинаково зовут. И нарочито громко, чтобы заглушить стук своего сердца, спрашиваю:

— Вам нужны деньги?

Но они просто пялятся на меня и молчат, и у меня снова возникает такое чувство, что я дал маху. В голове, за надбровными дугами, пульсирует боль. Может быть, нужно показать им купюры.

Мой тонкий пиджак, сшитый на заказ в Лондоне, у «Килгура», промок до нитки, словно я только что вышел из воды. Я тянусь рукой за бумажником, он у меня во внутреннем кармане, замечаю, что их взгляды изменились, хочу поскорее достать кошелек, чтобы они правильно меня поняли, но, уже дотронувшись кончиками пальцев до кожаного чехла, понимаю, что это тоже было неверным решением. «Y» пригибается, «bubbletea is not a drink I like» отскакивает, и вот уже рука того, что «MorningTower», метнулась вперед, коснулась меня и отдернулась, и, когда я достаю бумажник, грудь, голову, руки пронзает боль, вспыхивает, словно пламя, опаляет асфальт, стоящие неподалеку машины, дома, небо и огненный шар солнца на небосводе, заполняет, замещает собой весь мир, возвращается, собирается во мне. Кошелек падает на землю, но я, взмахнув руками, удерживаю равновесие, мне удается устоять.

Смотрю на троицу, а они смотрят на меня: спокойно, едва ли не с любопытством, словно их ярость вдруг улетучилась. Взгляды у них не глупые, не злобные, просто недоумевающие. Мне мерещится, будто «bubbletea» даже хочет мне улыбнуться, и я пытаюсь улыбнуться в ответ, но не выходит — чувствую, что мне не хватает сил.

«Y» поднимает с асфальта бумажник, с удивлением смотрит на него и роняет. Они бросаются бежать. Я смотрю им вслед, пока они не исчезают за углом.

Парень, скорчившийся у моих ног, начинает шевелиться. Распрямляется, постанывая, вытягивает руки, поворачивается, пытается встать. Лицо у него оплыло, все покрыто кровоподтеками, но непохоже, что он серьезно пострадал. Умереть он не умрет. Может, и без больницы обойдется. Перевалившись на другой бок, он опирается на локоть и, пошатываясь, встает.

— Все в порядке, — говорю я. — Не волнуйся. Все хорошо.

Он смотрит на меня, моргая.

— Все хорошо, — повторяю я. — Все хорошо.

Неуверенной походкой он подходит туда, где лежит мое портмоне, поднимает его, заглядывает внутрь. Его правый глаз не открывается, веко подергивается, из уха стекает струйка крови. На его красной майке никакой надписи, ничего.

— Черт, — говорит он.

— Мда, — отвечаю я.

— Я этому Рону на той неделе вломил. Теперь они меня подкараулили, а я был один.

— Мда, — отвечаю я.

— Они еще вернутся, — сообщает он. — Вернутся, куда денутся, вернутся, да, вот увидишь.

Он задумчиво засовывает в карман мой бумажник, поворачивается и, покачиваясь, удаляется.

Он что, действительно сказал, что они сейчас вернутся? Что я их еще увижу? Осторожно двигаюсь вперед по улице, шаг за шагом. Падать нельзя. Если упаду, то уже не встану. Дышать больно, при каждом шаге меня пронзает боль. Вот она, дверь, я в нее войду, за ней будет лифт, там, наверху, моя мастерская, там железная дверь, там я буду в безопасности, им туда не пробраться, там безопасно, я буду в безопасности, когда они вернутся.

Какая же эта улица широкая. Нельзя падать в обморок, нельзя, осталась всего лишь пара шагов.

Еще шаг. Он забрал мое портмоне!

Еще один. Если их всех и впрямь зовут Ронами, разыскать их будет несложно. Но, может статься, они так назвались, чтобы сбить меня с толку.

И еще один. Может так быть, что асфальт плавится из-за жары? Мои ботинки тонут в клейкой массе, по ее поверхности от моих шагов разбегаются мелкие волны.

И еще. Вот она, дверь, ключ у меня в кармане

брюк, ключ — в дверь, дверь — к ключу. Но я все еще не могу до нее добраться. Почему тут так безлюдно? Ни машин, ни человека у окна. Но, может, оно и к лучшему, ведь если бы сейчас кто-то появился, то это могли бы быть и они, ведь тот парень сказал, что они обещали вернуться. Вот дверь. Вот ключ. Надо найти нужный ключ, от двери в подъезд, а не от мастерской, и не от квартиры, я ведь не в квартире, я здесь.

И еще. Еще всего пара шагов. Еще всего пара. И еще пара. Давай же. Всего-то два шага. Два шага. Ключ. Дверь. Вот.

Он соскальзывает, скрежещет по металлу, скважина ускользает, то влево, то вправо, мои руки дрожат, но я нащупываю ее, так, вставляю, теперь повернуть, дверь поддается, внутрь, в лифт, нажимаю шестой, кабина, дернувшись, начинает подниматься вверх.

Рядом со мной какой-то мужчина, только что его здесь не было. У него жуткая щель между зубами и мятая шляпа.

— Егерштрассе, пятнадцать «б», — произносит он.

— Да, — бормочу я. — Верно. Это Егерштрассе, пятнадцать «б». Это этот дом, да.

— Егерштрассе, пятнадцать «б», — повторяет

он. — Шестой этаж.

— Да, — бормочу я. — Верно. Мы едем на шестой этаж.

И вот мы уже там, лифт останавливается, открываются двери, мужчина куда-то исчез, выхожу; теперь все зависит только от того, удастся ли мне вставить второй ключ в замок. Мне повезло: дверь поддается, я вхожу, запираю дверь за собой. Хватаюсь за щеколду — на мгновение кажется, будто ее заело, но вот уже она, скрипнув, сдвигается; все, дверь заблокирована. Я сделал это. Я в безопасности.

Хочется сесть. Стул стоит у противоположной стены, но облегчение придает мне сил, я иду к нему, иду, и вот наконец я до него добрался. Больше всего мне хочется заснуть, глубоко заснуть и не просыпаться, пока все снова не будет в порядке.

Ощупываю живот. Рубашка промокла, промок пиджак, и брюки тоже, не могу вспомнить, когда еще я так потел. Подношу ладонь к глазам. Она вся в красном.

Вот он, снова, этот субъект в шляпе и со щелью между зубами, и только взглянув на него, я понимаю, что сейчас он снова исчезнет.

— Иди к брату, — говорит он. — Помоги ему!

Егерштрассе, пятнадцать «б», шестой этаж. Помоги!

Вместо того чтобы ответить ему, что это не мой брат, это я сам, я гляжу туда, где стоит «Фотография из отпуска № 9», и вот он уже там, смотрит на меня снаружи, из окна — недурно у него получается держать равновесие, стоя на карнизе шестого этажа! Я читаю по его губам, что он повторяет: «Егерштрассе, пятнадцать “б“», и хочу уже крикнуть ему в ответ: «Эй вы, да я сам знаю, где нахожусь!», но это требует слишком много сил, у меня их нет, к тому же он уже исчез опять.

Мне холодно.

И в самом деле, меня колотит дрожь. Мои зубы стучат, и, если поднести ладонь к глазам, то видно, как она дрожит. Входит Генрих, вот его усы, клюка и трость, подходит к окну. Вижу, как гладь стекла за его головой рассекает самолетик, как рыбка, плывущая по воде, и вот мы вдвоем оказываемся на лугу, я еще совсем малыш, хотя только что был взрослым, и мама с папой говорят, что надо пить больше воды, и я спрашиваю папу, не был ли он только что Генрихом, а он спрашивает, действительно ли я не хочу пить, и я отвечаю: «Нет-нет, очень хочу». Поодаль в траве сидит Эрик, до того на меня похожий, что

мне самому кажется, будто это я. Раздвинув травинки, нахожу дождевого червя, поднимаю его, он извивается у меня на ладони, папа склоняется надо мной, заглядывает через плечо, и ощущение безопасности не покидает меня даже тогда, когда я оглядываюсь и вижу, что я в своей мастерской. Вместо червя на моей руке кровь.

— Надо выбираться отсюда, пока не поздно, — говорит мне Генрих.

— Помнишь, мне Эрик сегодня звонил? — спрашиваю я. — Сказал, что его секретарша перепутала братьев, набрала вместо меня Мартина. Помнишь?

— Ивейн, тебе надо выбираться отсюда, я серьезно.

— Если бы она нас не перепутала, то я бы сегодня с ним встретился, а сюда бы не поехал, и всего этого не произошло бы. Не забавно ли?

— Это все очень забавно, но надо срочно выбираться отсюда. Иначе будет поздно.

Поздно… Почему же я не предложил им свои часы? Это «Таг Хойер» стоимостью четыре тысячи евро, купил два года назад в Женеве. Отдал бы им часы, не пришлось бы лезть в нагрудный карман. Гляжу на циферблат. Десять минут пятого. Десять минут пятого. Десять минут пятого. Одиннадцать

минут пятого.

— Это все, конечно, хорошо, но я бы тебе предложил взять ноги в руки и двигать, — говорит Генрих.

— А куда?

— На улицу!

— И куда?

— Не важно, главное — наружу!

— Это *вон туда* наружу?

— Хоть куда-нибудь наружу!

Легко ему говорить. Но он прав: возвращаться сюда было ошибкой. Этот дом пустует, за исключением одного-единственного этажа, на котором склад, но и там я никогда никого не видел. Мне бы встать на четвереньки, добраться до двери, мимо «Фотографии из отпуска № 9», мимо этих хулиганов-детишек, переползти через прямоугольник света, льющегося в окно, а там еще всего пара метров — и дверь, там придется встать, чтобы добраться до замка и засова — и вот я уже снаружи.

Я сползаю со стула, встаю на четвереньки и ползу. Сил пока хватает, до двери доберусь. Сначала надо пробраться мимо ящиков, там, в нижнем, немного приоткрытом, мои кисти, лежат все мои кисти, но понятия не имею, как мне сейчас,

вот именно сейчас, отыскать среди них нужную. Трудная задача — так много кистей, к тому же я вовсе *не ищу* кисть!

Но что же я тогда ищу?

Ничего, доберусь до ящиков и вспомню. Под моими озябшими руками — холодный пол, шершавый пол, там, под моими шершавыми ладонями, грубые доски под грубыми пальцами — вперед. Только не смотреть на картину, тогда и дети меня не заметят, только не наступать на прямоугольник света на полу.

Только вот почему — что с ним не так, с этим прямоугольником, что не так?

Уже не помню. Помоги мне, открой дверь, я не справлюсь со щеколдой. Там, на улице, меня кто-нибудь обнаружит, кто-нибудь вызовет врача. А если врач спросит, что я здесь забыл, в этом районе, что тогда? Но какое врачу дело до моей мастерской, с чего бы ему спрашивать, что ему до кучки жалких подделок, хотя они, в сущности, вовсе и не подделки, картины как раз настоящие, подделка — это ты, бедняга Генрих! Помоги мне открыть дверь! Мне нужно выбраться отсюда, пока я не потерял сознание.

— Если ты это понимаешь, то должен понимать, что ты здесь один.

— Да, понимаю. И что?

— Ивейн…

— Да?

— Если ты здесь один…

— Да?

— То как же я помогу тебе открыть дверь?

— Что, никак?

— Ивейн!

— Да, да, понимаю, да. Я сам должен. Сам. Вперед, вперед. Но если я спущусь, а те трое вернутся, то что мне делать? Они могут сюда войти? У них есть ключ? Может, они не только кошелек у меня забрали, но и ключи.

— Если бы они забрали у тебя ключи, то сейчас тут, в мастерской, были бы они, а не ты.

— Почему?

— Потому что ключи были бы у них.

— Но что им нужно в моей мастерской?

— Хороший вопрос. Предлагаю ползти.

— Но…

— Времени нет совсем.

— Но…

— Совсем нет, Ивейн.

— Никогда не думал, что у меня такая большая мастерская. Если смотреть в окно отсюда, снизу, то видно куда больше неба, куда больше сине-

вы, чем обычно. Думаю, там, снаружи, все так же жарко, но я этого не чувствую, меня знобит. Теперь опять очень больно. Если бы не дышать, то было бы легче, можно попробовать дышать понемножку, но понемножку-то тоже нужно, а от этого обжигает, как огнем. Наверное, это боль не позволяет мне закрыть глаза. Я так устал, перед глазами уже иногда темнеет, но потом снова приходится делать вдох, и тогда так больно, что я тут же просыпаюсь. Понимаешь?

— Ивейн, меня здесь нет!

— Да тебя никогда рядом не было! С того самого дня, как мы ходили к гипнотизеру. Тебя вечно где-то носило. Но ты что же, совсем не впечатлен? Твой сын — герой, разве ты не видишь?

— Я никогда об этом не узнаю, Ивейн. И никто не узнает, если ты сейчас же не доберешься до двери, а оттуда — на улицу. Ползи, не застревай в траве.

— А еще помнишь, как мы с тобой играли в песочнице? Как ты строил замки, а я их рушил, а потом я расплакался, да-да, именно я, а не ты, и пришел папа и сказал: «Эрик, а ну прекрати!» — хотя ты был совершенно ни при чем…

Какая же высокая трава. Но что, если они и впрямь вернутся? Вон опять появился этот

тощий субъект и, поправляя шляпу, говорит: «Егерштрассе, пятнадцать “б“, шестой этаж!» Он размахивает руками, силясь обратить на себя внимание, нервно перекатывается с пятки на носок. «Твой брат там, там ты его и найдешь!»

— Нет, — говорю я, — это не там, это здесь. И это не он здесь, это я здесь.

Но он меня даже не слушает, он так торопится снова крикнуть «Егерштрассе, пятнадцать “б“, шестой этаж!», словно ему не терпится избавиться от этой информации. Он машет, он скачет, от былого спокойствия не осталось и следа, и вот он уже тает в воздухе, и я знаю, что больше никогда его не увижу.

Мне ужасно холодно, но зато я в безопасности. Те трое меня здесь не найдут. Дверь заперта, и даже будь у них ключ, трава слишком высокая, не пробраться. Все колышется, то вверх, то вниз, все идет волнами, туда-сюда. Этот дом не вечен, и даже синева небес там, снаружи, не всегда будет синеть. Останусь только я, я должен существовать, должен жить, ведь без меня всего этого бы не было, не было бы, если бы я этого не видел. Холодный, жесткий пол у моего виска. И пол покачивается, словно я в лодке.

Помнишь, как мы отправились в Танжер, как

плыли вечером на пароме через узкий перешеек, ты, мама, папа и я? Нам было шесть, и когда мы отъезжали, воздух в Альхесирасе был полон аромата цветов и сладковатого запаха бензина, мерцали звезды, окружавшие медный диск луны, папа нес нас обоих на руках, а мама шла следом, и на земле спал, широко разинув рот, какой-то толстый, небритый человек, его грудь вздымалась и опускалась, и я понял, что никогда его не забуду, но тут паром отчалил от берега, и причал превратился в череду сверкающих огней, мимо нас проплывали голые утесы, слышался шум волн, и мы все были вместе, одной семьей, навсегда, только так и не иначе, и, положив голову отцу на плечо, я понимаю, что скоро усну, хотя еще совсем не хочу спать; вокруг ночь, и только над головой светят звезды, они так близко, их больше, чем я когда-нибудь видел, скоро на горизонте появится Африка, вот только дышать снова больно, и я вспоминаю, что лежу на жестком полу, что мне холодно, меня все укачивает и укачивает, и я думаю о том, как взбудоражены мы были в первый день, и, разумеется, нас усадили рядом, чтобы все видели, до чего мы друг на друга похожи, родители стоят сзади, у стены, и учительница спрашивает, двое нас или все-таки

на самом деле один, и этот вопрос кажется мне настолько сложным, что я оборачиваюсь, гляжу на маму с папой, но они лишь молча улыбаются, словно дают нам понять, что с этих пор нам самим придется держать ответ, и глянь-ка, там, снаружи, пролетела птица, я ее не вижу, вижу только тень, промелькнувшую в светлом прямоугольнике окна, никогда я еще не видел, чтобы птицы летали так медленно, — скоро мы будем в Африке, а потом настанет очередное утро, я мог бы догнать его, я бы так хотел знать…

# Времена года

# 1

Цветущая яблоня так близко подходила к стене, что можно было заглянуть в дом. На первом этаже располагались зала, гостиная, бывшая медиатека, которая нынче пустовала, и библиотека. Забравшись повыше, можно было бросить взгляд через верхнее оконце в прихожую, а если еще повыше — то прямо в кабинет, где стоит стол, а на стене белеет пятно — там, где еще совсем недавно висел человечек — палка-палка-огуречик. А если у кого после этого останутся силы, то он может вскарабкаться еще и достать до самой крыши.

В одиночку Мари не отважилась бы туда лезть, но в компании Георга и Лены — вполне; ведь когда вас трое, никто не хочет показаться трусишкой, а иногда они еще и Джо с собой брали. Надо одной ногой встать в развилку, другой — на верхний край ставни, ну и главное — потом не смотреть вниз. Не раздумывать, а сосредоточиться, замкнуться, иначе сердце уходит в пятки, градом струится пот, члены сковывает страх, и вот ты уже мешком повисаешь на ветке. А надо вот как: ухватиться за жестяную водосточную трубу, раскачаться, упереться одной коленкой

в стену, просунуть пальцы между кирпичами, обрамляющими крышу, и подтянуться. И вот уже можно сесть, прислонившись спиной к наклонному скату, уперев пятки в водосток, и глядеть поверх яблоневой кроны, поверх кровли дома, где живет Георг, до самой следующей улицы и даже дальше, через улицу. По небу бежали растрепанные облака, гонимые, терзаемые и раздираемые ветром. И стоило прорваться завесе, как являлось огромное пламенное солнце — даже если смежить веки, оно все равно горело перед глазами.

Георг часто говорил, что его отец был полицейским, и дома ему разрешали играть с пистолетом, но сколько бы он о нем ни твердил, так ни разу и не показал. Еще он любил рассказывать истории о разбойниках, убийцах, мошенниках и крокодилах. Крокодил может часами лежать без движения, и кажется, что это бревно лежит, а потом как накинется! Георг и в Африке бывал, и в Китае, в Египте и в Барселоне.

Они обсуждали, что же могло приключиться с Ивейном. Может быть, он уехал в Америку. Люди частенько тайком уплывают в Америку на корабле, а иногда и улетают на самолете. Там, в Америке, носят шляпу и сапоги.

— А может быть, он в Китае, — предположила

Лена.

— Китай слишком далеко, — отрезала Мари. — И вообще, там по-китайски говорят.

Она чувствовала, как припекает солнце, слышала, как шумит листва на дереве, как тихо жужжит над ухом шмель.

— А он что, не выучил бы китайский? — интересуется Георг.

— Никто не учит китайский, — отвечает Мари. Да и зачем его учить? Слишком сложно, и смысла никакого нет — как вообще можно читать по этим черточкам? Что, если сами китайцы только притворяются, будто понимают, что написано? Может же так быть. Она ведь тоже притворяется, что понимает, когда отец говорит, что его спасла Великая рецессия.

— А что, если он умер? — спрашивает Георг.

Мари пожимает плечами. Какая же теплая черепица. Взять бы и заснуть, но засыпать никак нельзя, надо все время упираться пятками в сток, чтобы не свалиться.

— Если бы он умер, то его бы нашли.

— А может, он в лесу.

— В каком еще лесу?

— Ну, в таком. Где волки водятся.

Шмель куда-то приземлился, подождал немно-

го и снова взлетел. Мари моргнула. Вон то облако похоже на толстого дяденьку на велосипеде, в шляпе, но без головы.

— Интересно, небо никогда не кончается? — спрашивает Лена. — Или все-таки кончается?

— Может, там где-то есть стена, — говорит Мари.

— Даже если и есть, — возражает Георг. — Все равно можно полететь дальше. Ведь стену можно продырявить. Не может оно там нигде кончаться. Оно *никогда* не кончается.

— Ну а что, если стена прочная? — не унимается Лена. — Очень-очень прочная?

— Все равно ее можно чем-то проткнуть.

— А если это самая прочная стена в мире?

— Тогда представь, что у тебя есть самое острое в мире острие.

Некоторое время они молчат. Шмель жужжит то ближе, то дальше, то опять ближе.

— Тупица он все-таки, этот Маттиас, — сказала вдруг Лена.

— Верно говоришь, — поддакнул Георг.

— Это еще почему? — вставила Мари.

— Мари и Маттиас, Мари и Маттиас! — завела Лена. — Мари и Маттиас, Маттиас и Мари!

— Тили-тили-тесто, жених и невеста! — под-

хватил Георг.

Не открывая глаз, Мари сжала кулак и врезала ему, так точно угодив прямо в плечо, что Георг вскрикнул. Мари Маттиас тоже не слишком нравился, и, разумеется, все это понимали, просто дурачились, как обычно, сидя на крыше.

Однажды мать застукала их, когда они спускались. Она тогда жутко разволновалась, на какое-то время запретила Георгу и Лене приходить в гости, и Джо с Натали тоже запретила, хотя Натали они на крышу ни разу не брали. Мари твердо пообещала больше никогда не вытворять таких опасных вещей, но, сунув руку в карман, скрестила пальцы, чтобы получилось так, что она обещает как бы понарошку, и, к счастью, мама скоро об этом забыла. Она вообще быстро обо всем забывала. В последнее время она редко бывала дома, ей нужно было примерять костюмы и встречаться с разными людьми, много звонить по телефону, а еще постоянно консультироваться у своего адвоката по разводам, вежливым таким дядей с бородой, большими ушами и глазами, как у тюленя.

Дважды в неделю заходил отец, водил ее в кино или в зоопарк. Животных она не очень любила, фильмы он все время выбирал какие-то не те

— ему вообще было неведомо, что нравится одиннадцатилетней девочке. Иногда она сама ходила к нему в гости, в дом причта. Вообще-то это был секрет, что он там живет, ей никому нельзя было об этом рассказывать, ни бабушке с дедушкой, ни Лигурне, и в школе тоже нельзя, и уж тем более нельзя маме.

В доме причта пахло едой и нафталиновыми шариками. Папа спал на диване у телевизора, под картинкой, на которой был изображен Иисус, вид у которого был такой, словно у него болели зубы. Папа теперь всегда носил джинсы и рубашку в красную клетку, иногда еще кепку с надписью «Я ♥ Бостон». Когда она спросила его, по каким дням он ее стирает, он сначала растерялся, а потом заявил, что у него есть еще две таких же. У папы больше не было ни компьютера, ни телефона, ни машины, даже кроссовки были всего одни. Но она никогда доселе не видела, чтобы он пребывал в таком хорошем настроении.

— Кризис! — воскликнул он, когда они как-то раз прогуливались по зоопарку. — Кто же мог знать, что он наступит! Это как конец света. Еще месяцев восемь тому назад никто и не думал, что такое случится!

Они остановились. В глаза Мари бессмыслен-

ным взглядом уставилась антилопа гну.

— Обесценивание деривативов в результате падения рынка недвижимости. Да кто мог такое представить! На этом же можно было сделать миллиарды! Но такое никому и в голову бы не пришло. Курсы в свободном падении, банки не могут выдавать кредиты, — он хлопнул в ладоши. — И все это понимают, все только об этом и говорят, и никого это не удивляет, понимаешь? Никто не задает вопросов! Ты понимаешь?

Мари кивнула.

Отец присел рядом с ней на корточки.

— Все теряют деньги, — произнес он, наклонившись прямо к ее уху. — Все теряют все, понимаешь?

Она кивнула.

— И никто уже не спрашивает, куда делись его средства. Можно сказать, все практически уверены, что потеряют деньги, поскольку их теряют все. На это рассчитывают. Случается чудо. Ни один клиент даже не думает выяснять, куда испарились его вложения.

Мари знала, как сделать такой вид, чтобы казалось, будто она все понимает. Она и в школе часто так делала; иногда одного этого было достаточно для хорошей оценки. И всегда, когда отец пы-

тался говорить с ней о каких-то важных вещах. Ему почему-то казалось, что они похожи и дочь понимает его лучше, чем кто бы то ни было.

— Мари, — сказал отец. — Ты понимаешь меня лучше, чем кто бы то ни было.

Она устремила умоляющий взгляд на гну, но помощи от той ждать не приходилось.

— Если вот, к примеру… Просто пример, Мари! Если ты много потерял, но при этом ждал, что… Но тут вдруг так — и никто не задает вопросов!

— Пойдем посмотрим на тигров?

Он вскочил, снова хлопнул в ладоши, да так громко, что шедшая мимо женщина с коляской посмотрела на него с упреком.

— А Клюссен в больнице! Может, надолго, может, он там вообще помрет, кто знает? А с сыном я как-нибудь разберусь. Нет, ну кто бы мог подумать?

Положив Мари руку на плечо, он легонько подтолкнул ее вперед. Они направлялись к выходу. Ее это не удивило. Значит, и в этот раз тигров не будет. Папа никогда не водил ее к тиграм.

— Ну наконец-то! — воскликнул Георг, увидев, что они приближаются. Он сидел на заборе, напялив шляпу Робин Гуда, за спиной у него болтался колчан, в руках был лук. По всей видимости, он

там очень скучал.

— Они очень колкие? — спросил отец.

— Острые. Не колкие, а острые. Нет, вовсе нет!

— А кажутся острыми.

— Но они не острые!

Он пару секунд помолчал, затем сказал:

— Нельзя стрелять острыми стрелами. Это опасно.

— Но они ведь не острые, — повторил Георг.

— Это правда! — подтвердила Мари.

— В самом деле?

Дети закивали, Георг даже положил руку на сердце. Но Эрик этого уже не видел — он отрешенно смотрел на противоположную сторону улицы.

— Мне никогда не нравился этот дом.

— Мне тоже, — сообщила Мари.

— Ты когда-нибудь спускалась в подвал?

— А что, там еще и подвал есть?

— Нет! Нет никакого подвала, и ты туда — ни ногой!

— А правда, что вы потеряли все деньги? — спросил Георг.

— Это все кризис. Так неожиданно. Никто не мог предугадать. Ты новости смотришь?

Мальчик покачал головой.

— А что такое деривативы, знаешь?

Он кивнул.

— А что такое секьюритизированные долговые обязательства, тоже знаешь?

— Знаю.

— Правда?

Георг кивнул.

— Поосторожнее с этими стрелами, — сказал он, бросил еще один беспокойный взгляд на дом напротив, погладил дочь по щеке и отправился восвояси.

— Честное слово, они не острые! — крикнул Георг ему вдогонку.

— Правда! — добавила Мари.

И, глядя вслед отцу, она снова вспомнила об Ивейне. Лишь недавно она осознала, что эта загадка, возможно, никогда не разрешится. «Никогда» — это значит не просто «не сейчас», это значит, что и потом, и еще позже, да и, возможно, пока она жива, так ничего и не прояснится, а может, не прояснится и после того. Она часто вспоминала, как однажды он рассказывал ей в музее, отчего художники писали отвратительные вещи вроде тухлой рыбы, гнилых яблок или ошпаренных индюшек: потому что суть для них заключается не в самих предметах, а в

изображении этих предметов: таким образом, они, — тут он понизил голос и серьезно посмотрел на племянницу, словно доверял ей большую тайну, — изображали сам процесс изображения. А затем спросил, — тем же тоном, которым обычно спрашивал ее отец, — все ли она поняла, а она, как обычно, кивнула. С дядей ей всегда было слегка не по себе — до того он напоминал ей отца, у него был такой же голос, но при этом он все-таки был другим. Бывают ведь на свете странные вещи: кто-то рисует тухлую рыбу, чтобы изобразить изображение, велосипеды, если их поставить на колеса, опрокидываются, а если поехать на них — превосходно на тех же самых колесах держатся, существуют люди, похожие как две капли воды, а иногда кто-то вот так вот внезапно исчезает средь белого дня.

— Попал! — Георг протянул ей лук. На другом конце сада в мишени дрожала стрела. — Только будь осторожна! Они чрезвычайно острые!

Некоторое время они стреляли по очереди. Хотя лук был маленький, натягивать его было непросто; иногда у Мари получалось попасть в цель, но чаще она промахивалась. У Георга опыта было больше. Вскоре ее пальцы заныли от тетивы.

Появилась Лена и, забравшись на забор, приня-

лась наблюдать за ними. Мать отправила ее на часок погулять; Лена сказала, что к маме пришел мужчина в дорогой кожаной куртке и принес коробку конфет.

Георг выстрелил и попал. Мари выстрелила и не попала. Георг выстрелил и не попал. Мари выстрелила и не попала. Георг выстрелил и не попал. Мари выстрелила и попала. В соседнем доме распахнулось окно, и женский голос строго поинтересовался, не острые ли стрелы. Все трое поклялись, что ни капельки не острые.

Постепенно сгущались сумерки, целиться стало сложнее. Дерево казалось больше, чем было, но при этом его очертания расплывались, и сфокусироваться на нем становилось все труднее. Мари еще раз прицелилась; лук ходил ходуном — ее усталые руки дрожали. Она затаила дыхание. Миг длился и длился, словно, наводя лук, она могла заставить время остановиться. Все длился. Потом она отпустила тетиву, стрела описала в вечернем воздухе полукруг, зацепила дерево и исчезла в траве.

Попрощавшись с Георгом и Леной, она пошла через улицу к дому. Интересно, почему вечер пахнет не так, как утро? Да и полдень пахнет по-своему. С куста, встрепенувшись, взметнулась

птичья тень; она вздрогнула. Взмах крыльев, клекот, колыхание воздуха — и все, птица взмыла ввысь и скрылась. Мари задрала голову. Если Ивейн действительно мертв, то сейчас он тоже там, наверху, и облака не мешают ему смотреть с небес, поскольку для мертвых все в мире прозрачно.

Под подошвами шуршал гравий дорожки. В окно кухни было видно, как Лигурна мешает что-то в кастрюльке, зажав между ухом и плечом телефон. Фрамуга была приоткрыта, подслушать не составило бы труда, но зачем? Как правило, особого смысла в этом не было: взрослые редко говорили о чем-то интересном. Может, взобраться еще разок на дерево? Не до самой крыши, лезть в одиночку так высоко она бы не отважилась, но может, хотя бы до окна кабинета? Но и это показалось ей слишком опасным. Сучьев в темноте было толком не разглядеть, легко было свалиться, а если бы вдруг оказалось, что на яблоне засела ведьма, то кто бы от нее защитил?

Пройдя через прихожую, она поднялась наверх, в столовую. Ее уже ждала тарелка: кусок коричнево-красного мяса под соусом, немного риса, горстка горошка, рядом — стеклянная миска с пудингом. Она потрогала мясо — кусок был теплым,

мягким и волокнистым, живым и мертвым одновременно. Мари открыла окно и выбросила кусок на улицу. Она частенько так делала. Там его потом подберет какой-нибудь зверь — по крайней мере, еще ни разу не случалось так, чтобы еда, которую она выкинула вечером, утром еще лежала. Оставлять на тарелке ей ничего не разрешалось. Если она два раза подряд чего-нибудь не доедала, Лигурна жаловалась маме, та приходила, брала ее за руку и принималась расспрашивать, не беспокоит ли ее что, не гнетет ли, нет ли чего-то, о чем бы она хотела рассказать.

Разумеется, такого было предостаточно. Иметь тайны было просто здорово. Мать ничего не знала о деньгах, которые Мари прятала в своей комнате: в общей сложности триста двадцать евро, многократно сложенных и крепко прижатых ножкой от кровати. Частично это были ее карманные деньги, частично — то, что удалось добыть из сумки деда, которую он, как правило, беспечно оставлял в коридоре. Самое главное — не брать помногу за раз, не больше двадцатки, ни в коем случае не пятьдесят: если не хватало пятидесяти евро, то взрослые это тут же замечали, но на меньшие суммы не обращали внимания. Еще мать не знала, что брошь, которую она так долго

искала, зарыта под яблоней — Лена и Мари играли в поиск сокровищ и потом так и не вспомнили, куда ее задевали. И о том, что дочь уже дважды подделывала ее подпись под объяснительной на предмет отсутствия в школе, чтобы пойти с Георгом на рыбалку — к сожалению, они ничего не поймали, потому что ни ему, ни ей духу не хватило духу нанизать на крючок червя.

Кроме того, мама почти ничего не знала об этом доме. И кое-что объяснить ей было нельзя.

Два месяца назад Мари пришла из школы, сбросила ранец и улеглась на ковер, чтобы послушать шум дождя. Она то и дело поднимала руки, прищуривалась и всматривалась в очертания пальцев на фоне белого потолка. Позвонила Лене, позвонила Георгу, но их обоих не оказалось дома; попробовала позвонить Натали, у которой уже был свой мобильный, но и та не брала трубку. Тогда Мари поднялась на верхний этаж. Там, на чердаке, была комната, набитая пустыми чемоданами, — раньше Мари забавлялась тем, что часами открывала их, закрывала, ей доставляло радость забираться в них, перелезать из одного в другой, но в одиннадцать лет сие занятие было уже не столь волнительным. В другой комнате стояли шкафы, набитые постельным бельем,

полотенцами и всяким вышитым тряпьем; запершись в ней, она сидела и слушала, как стучат капли по крыше. Потом вышла в коридор и приоткрыла дверь в соседнюю каморку. Там стояли стул и столик, стены были оклеены пожелтевшими от времени обоями в выцветший коричневый прямоугольник. Окно было грязное; по всей видимости, Лигурна тут никогда не прибиралась. Поначалу Мари собиралась заглянуть внутрь, но потом осторожно прикрыла дверь и спустилась вниз. И только в своей комнате, усевшись за стол, включив лампу и раскрыв тетрадь по математике, она остолбенела от ужаса. Наверху, за столиком, кто-то сидел, ссутулившись, оперевшись локтями на стол, запустив пальцы в волосы, и смотрел на дверь. Она это четко видела, просто не сразу осознала; только потом, в памяти, все встало на свои места. Вот только лица его она вспомнить не могла. И вот как объяснить родителям такое? Даже Лигурна бы не поверила.

Она съела рис, горошек и десерт, затем направилась к двери в мамину комнату, постучала и вошла.

— Почему не стучишь? — лежа на кровати, спросила мать. Она учила текст. — Ладно, заходи, садись. Проверишь меня? — она протянула

девочке листы.

Всего-навсего три страницы. На первой значилось следующее:

**7/4 — ДНЕМ, В ПОМЕЩЕНИИ — КВАРТИРА ЭЛЬКЕ**

ЭЛЬКЕ и ЙЕНС сидят рядом за столом.

ЭЛЬКЕ: Дальше так продолжаться не может, Йенс.

ЙЕНС обеспокоенно качает головой.

ЭЛЬКЕ (продолжает): Ты это понимаешь, и я это понимаю.

ЙЕНС: Хольгер тоже понимает.

ЭЛЬКЕ: Давай не будем о Хольгере.

ЙЕНС: Как я могу не говорить о Хольгере? Ведь он стоит между нами.

ЭЛЬКЕ: Он мой муж, отец моих детей.

ЙЕНС: А я тогда кто?

ЭЛЬКЕ смотрит ему в глаза.

ЭЛЬКЕ: Ты — все!

— Эльке — довольно противоречивая героиня, — произносит мать. — Порой мне кажется, что мы близки по духу, но потом она вновь делается мне чужда.

— Откуда взялся мир? — спросила Мари.

— Ей хочется быть свободной. Для нее нет ничего важнее свободы. Но она понимает, что несет ответственность. И пытается как-то жить с этим

противоречием.

— Его создал Бог, но сам-то Бог откуда взялся? Он что, создал сам себя?

— Я тебе уже говорила, кто будет играть Йенса?

— Если говорить, что все создал Бог, то это вовсе не ответ. *Откуда* все взялось?

— Откуда все взялось?

— Да, откуда?

— Мирзо Капю!

— Что?

— Не чтокай. Правильно говорить не «Что?», а «Прошу прощения?». В главной роли будет Мирзо Капю! Ты его видела по телевизору.

— Я не смотрю телевизор. Я смотрю только дивиди. Двоюродный брат Лены нам вчера «Звездные войны» записал.

— Нельзя просто взять и объяснить, откуда взялся мир. Миру не нужна причина. А Мирзо Капю получил главную телевизионную награду.

— Было бы гораздо проще, если бы никакого мира не было, — Мари забралась под одеяло. — Ни людей, ни машин, ни деревьев, ни звезд… Все эти медведи, муравьи, песок в пустыне и на других планетах, вода в реках, Георг, китайцы, всякое прочее — этого всего так много!

— Но в характере Эльке заложен потенциал развития, история может принять самый неожиданный оборот.

Под одеялом было темно, но не совсем — немного света туда все-таки проникало.

— Я могу сегодня поспать с тобой?

— Нет, в другой раз. Мне надо учить роль.

— Но тут ведь всего три страницы! — Мари приподняла краешек одеяла, чтобы глотнуть воздуха. Сквозь образовавшуюся щель было видно мамино трюмо, висевшее над ним зеркало, угол окна и картину с плюшевым мишкой, еще совсем недавно висевшую у отца.

— Три страницы, двадцать или сто — не в этом дело, — раздраженно ответила мать. — Нужно войти в роль. Мне нужно найти нужную трактовку!

Мари закрыла глаза. По телу разлилась тяжесть. До нее доносилось, как мать бормочет: «Он мой муж, отец моих детей», затем опять — «Он мой муж, отец моих детей!» Потом она, видимо, ненадолго заснула, потому что мать легонько растолкала ее, взяла за руку и повела по коридору; в детской переодела ее, сняла с нее рубашку, штаны и белье, надела пижаму, уложила, накрыла одеялом, поцеловала, коснувшись кончиками

волос щеки — щекотно. Все это время Мари думала только о том, что мать не повела ее чистить зубы — забыла; бывает же везение. Потом за ней захлопнулась дверь, и Мари осталась одна.

По потолку гуляли слабые отсветы уличного фонаря. Было слышно, как шуршат о стену дома ветви яблони. Как воет ветер. Натянув на голову одеяло, Мари слышала теперь только шорох материи, но, если лежать смирно, совсем смирно, даже не дыша, то вообще ничего не было слышно, мира словно не существовало, да и самой Мари тоже — почти. Примерно так, наверное, чувствуешь себя, если ты — камень и лежишь себе, лежишь, а время проходит. День, год, сотня лет. Сто тысяч лет. Сто раз по сто тысяч.

При этом и один-то день довольно длинный. Еще так много дней до летних каникул, а уж сколько до Рождества! А сколько лет пройдет, пока станешь взрослой! И в каждом году будет много дней, в каждом дне — много долгих часов, а в каждом часе — целый час минут. Что же нужно сделать, чтобы все они прошли, как только старым людям удалось состариться? Что они только делали с таким количеством времени?

## 2

Деревья уже были расцвечены разными цветами, но листва еще не опадала. Мари возвращалась из школы — на плече ранец, в руке телефон, — и увидела, что у ворот сада стоит мужчина и кого-то ждет.

— Мари?

Девочка кивнула в ответ.

— У тебя есть минутка?

Артур оказался высоким и бледным; стоял, чуть наклонившись вбок, как будто у него болела спина; волосы его были растрепаны. Он придержал дверь машины, чтобы она могла забраться внутрь; сиденья пахли свежей кожей, на полу не было видно ни грязи, ни даже самого крохотного фантика.

Прошло два месяца с тех пор, как она получила от него письмо. Это было первое настоящее письмо в ее жизни; Лигурна просто положила конверт рядом с ее тарелкой, словно в этом не было ничего необычного. Впрочем, ее и так не особенно интересовали дела их семьи: после того, как мать объявила, что им придется с ней расстаться, еда стала еще хуже, чем прежде, на

полках стала собираться пыль. Мама сказала, что и дом этот они долго содержать не смогут — даже если бабушка с дедушкой будут помогать, он им все равно не по карману. Мать по этому поводу грустила, а Мари считала, что это к лучшему. Ей этот дом никогда не нравился.

В конверте был один-единственный листок, исписанный на удивление разборчивым почерком. К сожалению, писал Артур, они еще не знакомы, но она в любой момент может послать ему сообщение. Далее шел электронный адрес, затем подпись.

«Дорогой Артур, — ответила она. — Спасибо за письмо. Пишет тебе Мари. Мои дела хорошо, а как твои? Вот мой мейл. С уважением, Мари».

Неделю спустя пришел ответ. Артур интересовался, какого числа у нее день рождения, в каком она классе, нравится ей ходить в школу или не очень, с кем она сидит за партой, как зовут самого тупого учителя в школе, какую телепередачу она смотрит охотнее всего, а какую — терпеть не может, любит ли она математику, что думает о папе, что — о маме, а что — о дяде Ивейне и дяде Мартине, какой у нее любимый цвет, грустит ли она в дождь, как часто думает, куда пропал Ивейн, считает ли она, что животных есть можно, или

она против этого, считает ли, что среда лучше понедельника, и если да, то всегда ли лучше или только иногда, и как ей кажется, нужно ли всем подчиняться королю, президенту или никому не подчиняться. Спрашивал о книгах и о воздушных шариках, о куклах и плюшевых медведях, о друзьях. О том, почему она решила ответить на все эти вопросы, а если так и не надумала отвечать, то тоже — почему. Просил не чувствовать себя обязанной отвечать ему и благодарил, если ответит. Затем следовала короткая прощальная фраза, а о нем самом — ничего.

У нее недавно появился первый телефон. Он лежал у нее на ладони, красный, круглый и прохладный, гладкий сзади, спереди — с экраном во всю поверхность, но научиться печатать, не чувствуя пальцами кнопок, ей было трудно. Она постоянно нажимала не туда, словарь переиначивал слова во что-то свое, не имевшее никакого смысла, но она все стучала и стучала. В конце концов, ей было уже тринадцать лет, и в тупик такими вопросами ее было не поставить. Когда спустя пару дней ответа так и не последовало, она послала еще одно письмо: «Дорогой Артур, получил ли ты мой ответ? Как твои дела? Мы можем встретиться? С уважением, Мари».

Машина ехала практически бесшумно. Она огляделась. Эта часть города была ей совершенно незнакома, и она понятия не имела, куда это дед собрался ее отвезти. Со стен домов облезала краска, на дороге валялись пустые банки.

— Выяснилось ли что-нибудь за это время? — спросил он.

Мари тут же смекнула, что он спрашивает про Ивейна.

— Нет. Но недавно вышла статья.

Она достала телефон и принялась в нем рыться. Закладки, ссылки… Вот: «Критика онлайн» — колонка Себастьяна Цельнера — Ойленбёк. Она прочистила горло. Мари нравилось читать вслух, и она радовалась, когда ее вызывали в школе и просили что-нибудь прочесть, пусть она и делала всегда вид, что для нее это крайне обременительно — кому охота казаться зубрилой? Интонации у нее были верные, она практически не оговаривалась, даже не запиналась на трудных словах. Конечно, ей никогда не стать такой красивой, как мать, никакой актрисы из нее не выйдет, но голос у нее был безупречный.

Если нынче **Генрих Ойленбёк** считается самым современным национальным художником, то что это говорит о фрагментарности нашего общества? Нам что, до такой степени

нужен денди родом из среднего класса, мы что же, действительно настолько боимся своей неуверенности, что считаем необходимым прятаться под броней иронии? По всей видимости, ответ утвердительный. Лишь немногим художникам удалось не потерять в цене за время кризиса, а уж тех, кому удалось в цене подняться, — и того меньше. Перепуганные коллекционеры предпочли затаиться и вложить деньги в бетонное золото или забить подвал австралийскими «кенгуру». Голубые фишки среди художников стали редки, как летающие слоны. Но почему именно этот внушительно сработанный, ироничный классицизм проявил себя как надежное капиталовложение? Полотна Ойленбёка расходятся как горячие пирожки, а дилеры и аукционные дома получают на них рекордный навар.

«Давайте не будем делать поспешных выводов, — призывает куратор бохумской **“Свободной галереи”** Ганс-Эгон Эггерт. — Все дело в политике, проводимой тем, кто сейчас заправляет наследием художника. Курс развернут на 180 градусов с единственной целью — делать деньги». К сведению: в августе прошлого года пропал без вести неугомонный наследник художника, Ивейн Фридлянд. «В центре внимания Фридлянда было поддержание доброго имени мастера, — поясняет Эггерт. — Если выражаться тактично, то акцент в управлении собранием несколько сместился». С еще более резкой критикой

выступил директор гамбургского **Музея Коптмана** Карл Банкель: «Заниматься наследием столь значимой личности — дело чрезвычайно сложное. Немногие его достойны. Ивейн Фридлянд был не из их числа, новый управляющий фондом от них еще дальше».

Для художественной среды всегда было тайной, по какой причине Фридлянд получил свою должность, поскольку отличали его вовсе не глубокие познания в творчестве Ойленбёка, а личная близость к седовласому мэтру. Его неоднозначная деятельность беспокоила коллекционеров, но благодаря этому цены держались в разумных рамках. Под руководством Эрика Фридлянда, поначалу временно заменявшего брата, а теперь, по всей видимости, сделавшегося его полноправным преемником, политика Фонда Ойленбёка изменилась: работы художника стали то и дело обнаруживаться на выставках среди всякой «сборной солянки» из частных коллекций — назовем хотя бы **«Форум искусства» в Ротвейле, центр «Эспасио» фонда компании «Телефоника», выставочный зал Бингенского художественного объединения, арт-пространство Городского банка Брюсселя, площадку Сберегательного фонда Эберсфельда,** и так далее, и тому подобное. Если ранее создавалось впечатление, что вещей этого автора существует не так уж много, то теперь рынок буквально наводнен ими, а в музейных магазинах уже была замечена **сувенирная продукция** с

Ойленбёком — чашки, постельное белье, полотенца с принтами, воспроизводящими его излюбленные сельские пейзажи раннего периода. Именитые музеи как по эту, так и по ту сторону Атлантики уже давно зареклись иметь дело с этим художником. И тот, кто связывает возросшую популярность художника с якобы плачевным финансовым положением Эрика Фридлянда, просто кривит душой.

И вот уже намечается стагнация цен. Не надо быть пророком, чтобы предположить, что здесь тоже взлет лишь предвозвещает катастрофическое падение — впрочем, не было бы ничего страшного, если бы на этом в творчестве мастера, в котором специалисты видят больше «воды», чем идейной субстанции, и была поставлена точка. Но когда преходящие пристрастия перестанут застилать наш взор, мы, возможно, созреем для другого искусства — искусства негромкого, несколько более субтильного, но в то же время смелого, обращенного не в прошлое, а в будущее. Настанет час художников молчаливых, далеких от ажиотажа и пускания пыли в глаза. Назовем лишь одно имя — **Крыстиан Малиновский**. Его успех не обусловлен кризисом — напротив, его работы кризис преодолевают. Если мы спросим его, как он представляет себе период, в котором…

— Но ведь одно с другим не сходится, правда? — Мари подняла взгляд. — То он говорит, какой тот значимый, а то…

— Не стоит тебе забивать этим голову.

— Читать дальше?

— Нет, довольно.

— Папа говорит, что столько, сколько нужно, чтобы покрыть его долги, на этих картинках не заработать. Говорит, что искусство вообще столько не стоит. Но, по крайней мере, банк готов пока с этим мириться. Говорит, что банк забирает у него каждый цент, но не трогает его, пока деньги идут. Поэтому он и живет в доме причта, но мне нельзя никому об этом рассказывать. А ты где живешь?

— Я постоянно в разъездах.

— Ты все еще пишешь?

— Уже нет.

— Почему ты приехал только сейчас?

— У меня дела.

— И что же ты делаешь?

— Ничего.

— Ничего не делаешь?!

— Это вовсе не так просто, как кажется.

Он свернул и подъехал к парковке, на которой стояли всего две машины. Над воротами улыбались пластмассовые клоунские лица, за ними виднелись очертания американских горок.

— Ярмарочный балаган, — разочарованно про-

изнесла Мари. — Вот здорово.

Они вышли из машины. Шел мужчина, ведя за руки двух мальчуганов. Женщина толкала перед собой коляску. Пара молодых людей пила пиво прямо из бутылок. У павильона с тиром стояли под ручку мужчина и женщина.

— Почему ты тогда ушел? — спросила она.

— Тебе будут внушать, что жизнь состоит из обязательств. Может быть, уже внушают. Но это не всегда так.

Мари кивнула. Она, правда, не понимала, что он имеет в виду, но надеялась, что по ней этого не заметно.

— Можно и не идти на компромиссы. Можно жить, не ведя никакой жизни. Избегать конфликтов. Может, это не сделает твою жизнь счастливой, но легкой — сделает.

— Пойдем вон туда? — девочка указала на вход в лабиринт. Выбраться из лабиринта всегда просто. Надо только держаться правой стены, опустив глаза в пол и не отвлекаясь на зеркала — и вот ты уже снаружи.

Она достала мобильник.

«Только представьте! — написала она. — Я тут на аттракционах катаюсь». Пока Артур покупал билет, она пошла к дверям. Те, жужжа, распах-

нулись.

«На аттракционах? What the hell?»[4] — ответил Георг.

«А надувной замок с батутами там есть?» — поинтересовалась Натали.

«Скажи где и я буду», — добавил Джо.

Она на ощупь шла вдоль стены. Сквозь стеклянную перегородку были видны стоявшие рядом киоски, полукруглая вершина колеса обозрения, горки. Маленький мальчик с рожком мороженого в руках смотрел сквозь нее, словно она была невидимкой.

«Очень смешно», — написала она в чат.

«Ничего смешного! — ответил Джо. — Люблю карусели я б и правда сходил».

Где же застрял Артур? Впрочем, к таким ситуациям она привыкла. Это как когда они с отцом ходили в зоопарк: он делал это для нее, она — для него, при этом оба с большей охотой остались бы дома. Продолжая держаться стены, она на ощупь продвигалась дальше, свернула, еще раз свернула, и еще раз свернула — и должна была бы уже оказаться у выхода. Но выхода не намечалось. Она стояла перед зеркалом, и дальше

---

**[4] Примечания: 4**
Какого черта? (*англ.*)

дороги не было.

«Но мы же собирались на день рожденья к Маттиасу», — сообщила Лена.

«Попозже пойдем», — отправила Мари и убрала телефон в карман. Нужно было сосредоточиться.

На полу блестело синее пятно краски. Пройдя мимо зеркала, она свернула еще раз, и еще раз, и еще, и вот уже показалась вертушка турникета на выходе, но видела она ее через стекло. Дорожка уходила в противоположном направлении, налево и еще раз налево, и вела обратно ко входу. Вот оно, синее пятно. Рядом с ним лежал изогнутый металлический прут, заостренный с одного конца и с круглым наконечником, как у трости, на другом. Она наклонилась: несомненно, то же самое пятно. Но никакого зеркала не было — пятно что, могло перемещаться по лабиринту? И откуда взялась эта палка? Итак, продолжим: направо, еще раз направо, опять пятно. Что-то во всем этом было не так. Так, снова направо, и снова направо, снова оно, но теперь уже без прута. Она пошла в противоположном направлении, налево, еще раз налево, и шла, пока не оказалась перед стеной из стекла, не пускавшей ее дальше. Вернулась назад и вновь очутилась у входа; дверь была заперта.

Нащупав дверь, она принялась дергать и ко-

лотить. Тщетно. Постучала сильнее. Ничего не изменилось. Забарабанила по двери кулаком. Снова ничего.

Мари подошла к стеклянному проему, сквозь который можно было выглянуть наружу, и попыталась помахать человеку у кассы, но угол был неудачный — он не видел ее, она — его. Вызвать спасателей? Но она же сама заплатила за то, чтобы потеряться в этом лабиринте, это будет выглядеть смешно. Она свернула налево, затем направо, затем снова налево и снова направо, дважды прошла мимо стеклянного проема, трижды миновала зеркальные стены, потом опять оказалась перед синим пятном. По другую сторону стекла кто-то присел на корточки и посмотрел на нее; она вздрогнула, не сразу узнав Артура.

Постучала в стекло. Улыбнувшись, он тоже постучал, по всей видимости, приняв ее жест за шутку. Показав налево и направо, она пожала плечами, чтобы показать, что потерялась. Артур выпрямился и исчез из ее поля зрения. В горле у нее встал ком, она почувствовала, как подступают слезы, и разозлилась. Только она хотела вызвать спасателей, как кто-то тронул ее за плечо.

— Он совсем рядом, — сказал Артур.

— Кто?

— Да выход! Вот он, рядом с тобой. Что случилось? Ты что, плачешь?

Действительно — выход был лишь в паре метров от нее. Налево, потом направо — и вот она уже у турникета. Как же она могла его не заметить? Пробормотав, что она, разумеется, и не думала плакать, она вытерла слезы и помчалась наружу.

Артур указал на небольшой голубой шатер с красным занавесом у входа. Над проемом мерцали электрические звезды. «Читаю будущее по картам Таро», — гласила надпись над входом.

— Лучше не надо, — произнесла Мари.

— Да ну, пошли, — предложил Артур. — Вдруг тебе что-нибудь хорошее предскажут?

— А если наоборот, только плохое?

— Тогда просто не верь.

Они вошли внутрь. Настольная лампа отбрасывала желтоватый свет на деревянную столешницу, застеленную покрытым пятнами войлоком. За столом сидел пожилой мужчина в свитере, лысый, с двумя кустиками редких волос за ушами, в очках. Перед ним лежали лупа и колода карт.

— Подходите, не стесняйтесь, — позвал он, не вставая. — Подходите, берите карты, давайте

узнаем ваше будущее. Подходите, не стесняйтесь.

Мари взглянула на Артура, но тот стоял молча, скрестив руки на груди.

— Подходите, не стесняйтесь, — повторил предсказатель скрипучим, как шарманка, голосом. — Подходите, берите три карты. Давайте узнаем будущее.

Мари подошла к столу. Стекла очков у мужчины были невероятно толстыми, глаз за ними было почти не разглядеть. Мигая, он протянул ей колоду.

— Выберите двенадцать. Прочтем по ним вашу судьбу.

Колеблясь, Мари взяла у него из рук карты. Они были засаленными и потертыми. Рисунки на них были не такими, к которым она привыкла; на картах изображены были странные фигуры — падающая звезда, повешенный мужчина, рыцари с копьями, закутанный человек в лодке.

— Выберите двенадцать, — проскрипел предсказатель. — Берите. Стоит двенадцать евро. Двенадцать карт. Одна карта — один евро.

Артур положил на стол пятнадцать.

— Давно вы этим занимаетесь?

— Простите?

— Давно ли вы занимаетесь предсказаниями?

— Раньше занимался кое-чем другим, потом опять другим, но ни в чем особенно не везло.

— Трудно поверить.

— Я собирал залы.

— Большие?

— Крупнейшие.

— И что же случилось?

Предсказатель поднял взгляд.

— Что же случилось? — повторил Артур.

Моргнув, мужчина приставил ко лбу руку козырьком.

— Ничего, — произнес он. — Трудные времена случились. Везти перестало, вот что случилось. Лучшие годы прошли. Я уже не тот, что раньше.

— Или, наоборот, тот самый, — парировал Артур.

— Простите? Какой еще тот?

— «Как встарь», в самом что ни на есть буквальном смысле.

— Что вы имеете в виду?

— Ничего, просто пошутил.

— С какой стати?

Артур промолчал. Мари глядела на карты в своих руках и ждала. Предсказатель сидел, не шевелясь.

— У нас не так много времени, — намекнул Артур.

Предсказатель кивнул, нашарил деньги, положил в карман, порылся в нем и не без труда извлек три монеты сдачи.

— Выберите карты, — обратился он к Мари. — Сверху, снизу, из середины колоды — как пожелаете. Закройте глаза. Вслушайтесь в себя.

— Двенадцать? — уточнила Мари.

— Выкладывайте на стол. Одну к другой. Вот сюда.

— Так мне выбрать двенадцать?

— Сюда, сюда. Выкладывайте одну за другой.

Она вновь бросила на Артура вопросительный взгляд, но тот как-то странно рассматривал предсказателя. И как же ей выбрать эти карты? Вытянуть по одной или выбрать из середины сразу дюжину? Она нерешительно вертела колоду в руках.

— Без разницы, — произнес Артур.

— Прошу прощения? — переспросил мужчина.

— Если это работает, то работает вне зависимости от того, как ты выберешь карты, — сказал Артур. — А если не работает, то никакой разницы тем паче нет.

— Ваше будущее, — бормотал предсказатель. —

Ваша судьба. Вот сюда, на стол, пожалуйста.

Мари вытащила из середины одну карту и, не открывая, положила на столешницу. Потом еще одну, и еще. И еще девять, из разных мест колоды. Подождала, но мужчина не шелохнулся.

— Готово, — сказала она.

Тот глянул в ее сторону и моргнул. Его рот был разинут. Достав из нагрудного кармана зеленый шелковый платок, он промокнул лоб.

— Готово! — повторила Мари.

Он кивнул, пересчитал карты, слегка касаясь каждой кончиком пальца, и тихо произнес: «Двенадцать», обращаясь то ли к ней, то ли к самому себе, поправил очки и выложил карты полукругом.

— Чего бы это ни стоило, — произнес Артур. — Надо лишь прилагать усилия. Чего бы это ни стоило.

— Прошу прощения? — переспросил предсказатель.

Но тот не ответил.

Мужчина стал открывать карты. От карт исходило что-то зловещее, Мари они казались уродливыми, жестокими и древними. Казалось, они возвещают о каком-то насилии, о мире, в котором ни один человек не был добр к другому,

в котором с каждым могло приключиться все, что угодно и никому не следовало верить. Одну из фигур художник запечатлел в танце, на другой карте виднелся затянутый облаками желтый диск. Предсказатель наклонился, чуть ли не бороздя лбом столешницу, взял лупу и принялся рассматривать карты одну за другой.

— Тройка мечей, — сказал он. — Перевернутые.

— Их тут не три, — сказал Артур.

Предсказатель поднял голову; за толстыми стеклами очков его блестящие глазки казались крохотными.

— Пересчитайте! — приказал ее дед.

Мечей было пять, Мари это было ясно с первого взгляда. Предсказатель провел указательным пальцем по карте, двигаясь от меча к мечу, но изображение было столь филигранным, а его рука так дрожала, что он все время промахивался.

— Семерка, — произнес он. — Перевернутые.

— И не семь, — сообщила Мари.

Предсказатель поднял взгляд.

— Пять! — воскликнула она.

— Пятерка мечей, — повторил предсказатель и коснулся пальцем следующей карты. — Пять мечей, перевернутые, рядом с Солнцем и Влюб-

ленными.

— Это Луна! — вскричал Артур.

Предсказатель снял очки, промокнул зеленым платком лицо.

— Луна и Солнце противопоставляются друг другу, — добавил Артур.

— Кто кого оставляет? — переспросил предсказатель.

— Противопоставляются в Таро. Так я слышал. Но я не специалист. У вас что, слухового аппарата нет?

— От него все время в ухе свистит. И тогда совсем ничего нельзя разобрать.

— Со свистящим аппаратом, наверное, гипноз невозможен.

— Да, — подтвердил предсказатель. — Невозможен.

— Но на картах гадать можно недурно, так?

— Слишком высокая аренда за стенд. Бандиты они все. Клиентов слишком мало. А когда-то я собирал залы.

— Крупнейшие, — повторил Артур.

— Что, простите?

— Продолжайте!

Предсказатель опустил голову, его нос завис в сантиметре от карт. Он вытащил одну и положил

в середину. На ней были изображены крепость и молния, человечки застыли в неописуемых позах.

— Башня, — сообщил Артур.

— Прошу прощения?

— Это Башня?

Предсказатель кивнул.

— Башня. В сочетании с пятеркой мечей, перевернутой… И Луной… Это может означать, что…

— Но это вовсе не Башня! — крикнул Артур. — Не Башня!

— А что же это тогда? — поинтересовался предсказатель.

— Вы почти слепой, — сказал Артур. — Так ведь? Не только глухой, но и слепой.

Предсказатель уставился на стол и медленно отложил лупу.

Вопросительно взглянув на внучку, Артур указал на выход.

Мари кивнула.

— Прощайте! — крикнул Артур.

Предсказатель не ответил. Они вышли наружу.

— Но ты все равно заплатил, — сказала Мари.

— Он старался изо всех сил.

— Что все это значило? Башня, пятерка мечей, Луна — или это все-таки было Солнце? Что это

означает?

— Лишь то, что он не мог их разглядеть.

— Но как же мое будущее?!

— Придумай его сама. Какое нравится.

Почему же на лице Артура читается такое облегчение, спрашивала себя Мари. Она была бы не прочь прокатиться по «Дороге призраков», но дедушка вдруг куда-то заторопился. Они пошли к парковке; Артур что-то тихо напевал. Все так же улыбаясь, он распахнул дверцу машины.

— У меня есть дом, — сообщил он, выезжая со стоянки. — Он стоит на берегу небольшого озера, и куда ни глянь, других домов не увидишь. В нем я могу работать целыми днями. Часто идет дождь. Я думал, на природе мне будет хорошо, но тогда я не знал, что на природе так часто льют дожди. Иногда я отправляюсь в путешествие, потом возвращаюсь. То, что я пишу, долгое время оценивалось выше среднего, потом перестало, а теперь я только и делаю, что читаю книги, написанные другими. И они так хороши, что я бы их написать не мог. Ты спрашивала, чем я занимаюсь, — да вот этим.

— И так ты провел все эти годы?

— Они пролетели незаметно.

— Куда мы сейчас направляемся?

Артур не ответил. Какое-то время они ехали молча, потом он притормозил и остановился.

Мари огляделась. Она здесь уже бывала, причем не так давно, с классом. Любые экскурсии навевали на нее скуку, но эта с большим отрывом лидировала в списке самых ужасных.

— Мы идем в музей?

— Да.

Она вздохнула.

Выйдя из машины, они поднялись по мраморным ступеням и пошли по длинному коридору.

— Мне скоро пора нужно будет идти, — сообщила она. — Дома уроки ждут.

— Много задают на дом?

Мари кивнула.

Была суббота, а на выходные им, к счастью, никогда ничего не задавали.

— Очень много, — сказала она.

«Так что, идем мы к Маттиасу или нет???» — написала Лена.

«Идем-идем, но попозже», — ответила она.

Картины тянулись одна за другой; на одних были только линии, на других — перемазанные краской плоскости, на каких-то еще можно было что-то распознать: пейзажи, здания, лица. Вихри, водовороты, потоки, взрывы цвета. Наверное,

для того, кто подобным интересуется, все это представляло бы интерес, подумала она. Но явно не для нее.

— Мне правда пора домой.

Артур остановился у одного полотна.

— Взгляни.

Мари кивнула. Картина была в золотой раме, на ней было изображено море. С кораблем.

— Да нет, — повторил Артур. — Взгляни!

Море было синим, каким и должно быть море, оно раскинулось под безоблачным небом, на котором сияло огромное солнце. Вслед за кораблем летела стая чаек.

— Нет, — настаивал он. — По-настоящему взгляни!

Действительно, море было не таким уж и синим. На волнах пенились барашки, вода то темнела, то снова светлела. Да и у неба было множество оттенков. У линии горизонта оно, утопая в дымке, плавно переходило в море, а ближе к солнцу все расплывалось под толстым слоем белил. Если глядеть туда, то глаза начинали болеть. При этом это была всего лишь краска.

— Да, — подтвердил дедушка. — Именно так.

У корабля был длинный киль и пять труб, иллюминаторы блестели. На ветру трепетали

гирлянды флажков, на палубах толпились люди, на корме возвышался на постаменте якорь. Впереди, в носовой части, стояло изваяние: громадные, искривленные часы, которые ей показывали на слайдах в школе, их нарисовал какой-то очень известный художник, только она не могла вспомнить, кто. Мари взглянула на крохотную этикетку на стене: «Переправа с дорогой скульптурой. Г. Ойленбёк, 1989».

Она подошла еще ближе, и все мгновенно растворилось. Не было больше ни человечков, ни флажков, ни якоря, ни косого циферблата — лишь несколько цветных точек на палубе корабля. В нескольких местах проглядывал холст, да и сам корабль был лишь средоточием штрихов и пятен. Куда же все подевалось?

Мари отступила на шаг назад, и все вновь сложилось в картину — корабль, иллюминаторы, люди, — хотя она только что своими глазами видела: их там не было. Она отошла еще на шаг, и теперь ей стало казаться, что картина пытается что-то ей сообщить — что-то, никак не связанное с изображенным на ней. Послание, скрытое в светлоте неба, в необъятности водной глади или в том, как корабль медленно уплывает вдаль.

— Фатум, — произнес Артур. — С большой бук-

вы «Ф». Однако воля случая еще могущественней. Вдруг тебе достается судьба, которая вовсе не была тебе уготована. Чья-то случайная судьба. Все происходит стремительно. Но писать он умел. Помни об этом и никогда не забывай. Как он умел писать!

— Кто — он?

— Ивейн.

— Но ведь это не его картина.

Артур внимательно посмотрел на нее. Мари ждала, что дед скажет еще что-то, но он молчал.

— Можно, мы теперь пойдем домой? — спросила она.

— Да, — ответил он. — Вот теперь я отвезу тебя обратно.

## 3

Когда Мари и Маттиас подошли к дому причта, то вновь застали Эрика и Мартина в разгар ссоры. Ничего необычного в этом не было. Скорее, так бывало почти каждый раз.

— Какое счастье, что я съезжаю! — кричал Эрик.

— Я тебя не задерживаю. Мне тут фанатики не нужны. Как только можно предполагать…

— Что Бог творит чудеса?

— Бог не творит чудес! Стоит только задуматься, и не сможешь ответить на вопрос, почему в большинстве случаев никаких чудес не случается. Если он спас тебя, то почему не спас остальных? Ты что, важнее?

— Возможно.

— Ты шутишь, да? Ты что, и правда полагаешь, что Господь ниспослал финансовый кризис, чтобы избавить тебя от твоих проблем? Ты не просто так говоришь, ты *на самом деле* так считаешь?

— Ну а почему нет? Почему кризис не мог представлять собой мое спасение, где основания?

— Потому что ты не настолько важен!

— А вот, по всей видимости, настолько! Иначе

бы ради меня…

— Все понятно, круг замкнулся.

— Вы же сами все время твердите: пути Господни неисповедимы. Вы сами нам постоянно внушаете, что невозможно предсказать, как он повернет судьбу человека.

— А как же Ивейн? Получается, он исчез, чтобы ты мог забрать его полотна и оплатить ими свои долги по процентам?

— Как ты можешь так говорить?!

— Это не я, это *ты* так говоришь.

— Я никогда такого не говорил!

— Это непосредственно следует из того, что ты…

— Мы были близнецами. Тебе этого не понять. Я — не только я, а он… Был не только собой. В каком-то смысле мы всегда были одним человеком. Это сложно объяснить.

— И вот так каждый день! — обратился Мартин к Мари. Министрант подал ему белую рубашку, в рукава которой он, отдуваясь, продевал руки. — Каждый день он повторяет мне, что Господь хранит весь мир и его в особенности. Каждый!

— Он отказывался крестить меня! — воскликнул Эрик. — Мне пришлось обратиться в другую общину! Мой собственный брат не желал меня

крестить!

— Каждый день он предстает передо мной в этой своей клетчатой рубашке и повторяет, что Господь послал кризис, чтобы его спасти.

— Да оставь ты меня в покое! Иди вон, играй в свой кубик.

— Кубик — это не игрушка.

— Конечно! Это серьезный, утомительный вид спорта!

— Можешь оставить свои комментарии при себе! Я снова на двадцать втором месте!

— На двадцать втором месте чего? — спросила Мари. Она знала ответ, но также знала, как Мартин любит это повторять.

— Национального рейтинга!

Министрант возложил ему на плечи столу. Это был неприметный юноша, с которым на той неделе они успели немного пообщаться. Завязать разговор было не так-то просто, поначалу он очень стеснялся, но стоило ей пару раз ему улыбнуться, как он позвал ее на свидание. Она попыталась отказать так мягко, как только могла, но его это все равно задело, и с тех пор он старался ее избегать. Мартин познакомился с ним на встречах Союза католической молодежи. Дырка в правой ноздре говорила о том, что еще недавно

там было кольцо. Если она правильно помнила, звали его Рон.

Мари приобняла Маттиаса за шею и почувствовала, как тот вздрогнул. Ему было не очень приятно, когда она касалась его в присутствии отца. Маттиас боялся Эрика, и упрекать его в этом не приходилось.

Встречаться с кем-то было не слишком простым занятием. Иногда ей в голову закрадывалась мысль, что она-то могла бы и подождать еще немного, но у Лены уже был парень, у Мириам тоже, да и Георг был не против завести подружку. Как-то, впав в отчаяние, он даже предложил встречаться Мари, но та только рассмеялась — настолько абсурдным было это предложение. Маттиас был на год старше нее, ему исполнилось шестнадцать, они встречались около месяца, и за это время она уже трижды с ним переспала. В первый раз она чувствовала себя странно, и все показалось ей несколько утомительным; во второй раз процесс показался ей просто нелепым; но вот в третий, у него дома, когда его родители были в отъезде, а выставленная из комнаты собака жалобно скреблась в дверь, ей вдруг стало понятно, почему люди так помешаны на сексе.

Министрант отступил в сторону. Мартин те-

перь был в полном облачении. Он тут же стал казаться стройнее и величественнее.

— Лаура придет? — спросил Эрик.

— Она на съемках, — ответила Мари. — В новом сезоне ее героине отвели более значимую роль.

— И как сериал, хороший? — поинтересовался Мартин.

— О да, очень, — подал голос Маттиас. — Весьма интересный.

Мари пнула его локтем в бок, и оба расхохотались.

Год назад она начала рисовать. Об этом никто не знал — слишком неумелые у нее пока что получались штрихи, формы не складывались в композицию, но она не отчаивалась и верила, что умение придет. И хотела, когда вырастет, стать по второму образованию художником-графиком. А по первому — врачом. И выучить иностранный язык, а может, даже три или четыре, но не больше — ведь еще должно оставаться время читать книги и путешествовать по далеким континентам. Она непременно хотела увидеть Патагонию и побережье Северной Африки. И в Китае тоже хотела побывать.

— Итак, покончим с этим, — произнес Мартин и распахнул дверь. Снаружи медленно кружили

огромные хлопья снега.

До церкви было всего несколько шагов. Мартин шел впереди, за ним следовал служка, потом шел Эрик, замыкали шествие Маттиас и Мари. Мари высунула язык, ловя снежинки. Холодное белое одеяло приглушало всякий шум. Она взяла Маттиаса под руку.

— Пойдем потом ко мне? — шепнул он ей на ухо.

Может, это была не такая уж плохая идея. Родители снова уехали, дом был полностью в их распоряжении. Но все-таки она сомневалась. Маттиас ей нравился, она не хотела причинять ему боль, но, возможно, ей следовало найти себе более подходящую пару. Склонив голову набок, так, что кончики ее волос касались его щеки, она пробормотала:

— Возможно.

Эрик обернулся и бросил на них подозрительный взгляд. Мари была еще слишком юна, чтобы разгуливать под ручку с мальчиками, да еще с такими невзрачными, как этот паренек. Еще не время. Если так будет продолжаться, они, того и гляди, и целоваться начнут. Как бы этому помешать?

Нужно больше молиться. Молитва всегда по-

могает. Если бы он молился чаще, то ни за что не угодил бы в такие неприятности. Все его опасения подтвердились: за ним постоянно следили, как и за всеми остальными; мироздание представляло собой систему знаков, выстроенную так, чтобы их можно было прочесть, ночь была полна бесов, а в каждом углу таилось зло. Но, вверив себя Господу, ничего этого можно было не бояться. Это была простая истина, и он никак не мог понять, почему его брат так злился, стоит ему об этом заговорить. Ивейна он всегда понимал без труда, но при общении с толстяком все сразу становилось так сложно. Беседовать на такие темы с новообретенным другом Адрианом Шлютером было куда проще. Шлютер и обратил его внимание на то, что Господь обязан простить всякого, кто ходит к исповеди, ведь Он и сам причастен к этому таинству.

Поэтому Эрик исповедовался каждый день. Он уже исследовал все церкви в городе, знал, где приходится долго стоять, а где очередь подходит быстро; где со священником можно побеседовать, где задают слишком много вопросов, а где святой отец не узнает тебя и с десятого раза; знал, какие храмы лучше обходить стороной, поскольку с их фасадов смотрят вниз изваяния дьявольских

химер, шипя, извергающих проклятия и не желающих пускать его внутрь. Чтобы исповедоваться каждый день, требовалась определенная дисциплина. Бывало, что за день он не успевал ничего натворить, и приходилось придумывать себе какие-то грехи, но усилия того стоили: после этого можно было идти по жизни легко, аки новорожденный, быть свободным от всякого греха и не страшиться никакого суда.

Он поднял голову. На фоне серого неба, мерцая, носились снежинки. Снег пошел вчера вечером, и воцарилась такая тишина, что он даже не мог заснуть, лежа на своем продавленном диване. И всю ночь мечтал о том, что скоро у него снова появятся письменный стол, визитки, телефон, компьютер и служебный автомобиль.

Прошло всего два месяца с тех пор, как он случайно встретил на улице Лотара Ремлинга. Они громко приветствовали друг друга, хлопали по плечу, снова заговорили о футболе. «Просто невероятно! — вскричал Эрик, тыча пальцем в небо. — Этот недавний матч, а!» Да, ответил Ремлинг, в голове не укладывается, как эти болваны могли так продуть — и поведал, что для фирмы «ремлинг. Консалт» наступили золотые времена, что правительства так накачали си-

стему деньгами, что непонятно, куда их девать: кто бы мог такое предположить даже год назад! Поинтересовался, как дела у Эрика, как жизнь, и тот уже хотел ответить, что у него столько разных проектов, что работать приходится до упаду, как вдруг, к своему удивлению, объявил, что не делает ничего.

Как это — ничего?

Да вот так. Ничего. Совсем ничего, и так целыми днями. Он удалился от мира, живет в доме причта. У того своего брата, который священник.

— С ума сойти, — только и сказал Ремлинг. — Что, правда, что ли?

Ему вдруг стало ясно, что так дальше продолжаться не может, пояснил Эрик. Нужно позволить себе сделать перерыв. Поразмыслить о том о сем. Он читает Бхагавадгиту. Медитирует. Ходит на исповедь. Проводит время с дочерью. Управляет наследием погибшего брата. Он наверняка вернется в профессию, но пока не спешит. Так легко упустить из виду самое важное.

— Самое важное, — повторил Ремлинг. — Да, верно, в том-то и суть.

И попросил у Эрика номер его телефона, но тот ответил, что мобильного у него больше нет; тем не менее с ним всегда можно поговорить,

позвонив в дом причта.

И действительно, три дня спустя Ремлинг позвонил, они встретились, пообедали. Прошло еще два дня, они снова повидались. Потом еще разок на следующей неделе, и вот уже все было шито-крыто. Эрик заявил, что в услугах приходящего юрисконсульта не нуждается, поскольку его судьба в руках Господа. «Просто неслыханно!» — воскликнул Ремлинг.

Никаких сомнений в том, что в составе «ремлинг. Консалт» его дела быстро пойдут в гору, у Эрика не было. Он знал свое дело, знал все тонкости; в конце концов, он с нуля создал одну из крупнейших консалтинговых компаний в стране. И в том, что его постиг крах, его вины не было: никто не мог предвидеть, что грянет кризис, не мог предположить, что их ждет, и все его сотрудники тут были с ним солидарны. Дважды в неделю они с Фельзнером и Марией Гудшмид встречались за чашкой чая и повторяли друг другу: «Никто не мог такого предвидеть!» Поэтому вкладчикам и пришлось смириться с потерями, поэтому сын Клюссера и не стал подавать на них в суд. Только бывший шофер Эрика обратился к гособвинению, но претензии, изложенные им в письме, были настолько несуразны, что никто не стал

браться за расследование. Продажа почти сотни картин и тысячи набросков, обнаружившихся дома у Ивейна и в мастерской Ойленбёка, вкупе с тиражированием его хуторов на карандашах, волчках, пижамах и чашках, принесли такой доход, что он сумел с их помощью покрыть процентные ставки по промежуточным кредитам. Жаль только, что местонахождение множества картин неизвестно: существует примерно три десятка работ, детально описанных братом в его каталогах, но от них не осталось и следа — никто их не видел, никто о них ничего не знал, такое впечатление, что их никогда и не существовало. Увы, нынче ажиотаж вокруг Ойленбёка улегся, цены упали, выручка от продажи прав тоже пошла на убыль, но самое трудное позади. В тюрьму его уже не посадят, Господь миловал. Кроме того, его чувства обострились, и мыслил он яснее, чем когда бы то ни было: расходы на лекарства удалось снизить, что пришлось как нельзя кстати; теперь он принимал только самые необходимые таблетки, без которых ему не удалось бы достойно прожить очередной день.

То же самое он сказал Сибилле. Они не виделись четыре года; та исхудала и казалась изможденной. Эрик повторил ей то, что говорил Ремлингу:

про Бхагавадгиту и исповедь, про то, что отказался от сотового, что взял тайм-аут, что его судьба в руках Господа. О кризисе, которого никто не мог предвидеть. Рассказал о разводе и о том, что живет теперь в доме причта. О том, что никогда уже не сможет ощущать себя полноценным человеком после того, как погиб его брат-близнец. Сибилла поинтересовалась, выздоровела ли Лаура — о да, ответил он, слава Богу, да! Теперь он был бы готов переехать к ней. Его доходы сокращены до уровня прожиточного минимума, так что позволить себе квартиру он не может, но ему надо во что бы то ни стало убираться из того места, в котором живет, — набожному человеку под кровлей дома причта не место.

Эрик наклонился и зачерпнул пригоршню снега. Он был еще таким рыхлым, что слепить комок представлялось практически невозможным. Хотел было запустить рассыпающийся снежок во что-нибудь, но подходящей цели на примете не было. Мари вдруг показалась слишком взрослой, чтобы в нее кидаться, в ее страшненького дружка ему целиться не хотелось — если он вдруг угодит по такой роже, вероятно, возникнет неловкая ситуация. Бросать снежками в Мартина, когда он в облачении, тоже было нельзя. Поэтому он

примерился к министранту.

Комок угодил тому прямо в затылок, обдав снежной пылью и образовав вокруг его головы что-то вроде нимба. Молодой человек обернулся; на долю секунды он стал похож на зверя, готового к прыжку, — но затем черты его лица смягчились, и он изобразил вымученную улыбку.

Что-то в его поведении было странным. Когда Эрик впервые явился в дом причта, тот при виде него стал истерически смеяться, и до сих пор едва мог заговорить с ним, не побледнев и не начав запинаться. Эрик полагал, что кто-то поручил парню за ним следить, но это его больше не волновало. Господь хранил его.

Они вошли в церковь. Органист брал за аккордом аккорд, паствы собралось больше обычного: те же пятеро старух, что всегда, те же двое толстяков, дружелюбный и не очень, печальная молодая девушка и Адриан Шлютер. Но в этот раз пришли и несколько старых друзей Ивейна, среди которых был некий бельгийский художник с острой бородкой и шелковым шарфом, кузина, с которой все они не виделись уже много лет, бывшая секретарша Эрика Кати, перешедшая на работу в Фонд Ойленбёка заниматься продажей прав. Была и мать Мартина, а рядом с ней, высо-

кий и прямой, — прелат Финкенштейн. В первом ряду, прикрывшись солнечными очками — то ли в печали, то ли ввиду своей известности, — сидела мать близнецов.

Ивейн числился пропавшим без вести вот уже более четырех лет. На той неделе его официально объявили погибшим. Эрик настоял на поминальной мессе — спорил, умолял, наконец, угрожал подать жалобу епископу. Мартин отказывался, как мог. Ивейн не был крещен, к тому же службы о поминовении души он вообще считал глупостью — с чего бы всеведущему Господу менять свое мнение о душе почившего только из-за того, что оставшиеся в живых родственники собрались совместно исполнить пару гимнов? Или, точнее, так: службы о поминовении души представляли бы собой глупость, если бы всеведущий Господь существовал, а вся теология имела бы смысл. Поэтому в конце концов он согласился.

Пришедшие встали.

— Господь с вами, — обратился к ним Мартин. С тех пор как он осознал, что вера не придет, он чувствовал себя свободным. Ничего сделать было нельзя: похудеть он в этой жизни уже не похудеет, и от здравого смысла своего тоже никуда не денется.

— И со духом твоим, — негромко ответствовала община.

Мартин произнес несколько слов о брате. Он делал это уже не в первый раз, и слова лились сами собой, и думать ему не требовалось: Ивейн Фридлянд прожил жизнь, он писал, исследовал, многое видел, поскольку видеть вещи было его истинной страстью. Ивейн ни к кому не проявил злобы, подчинил себя и дела свои служению таланту другого человека, более великого, которого почитал более прочих. Он мог бы еще многого достигнуть, но его безвременно настиг злой рок, о природе которого ведомо лишь одному Господу. Ивейн никогда к нам не вернется.

Мартин сложил руки. Министрант тяжело дышал, тер лицо, покашливал и обременительно пыхтел. Парень старался как мог, но он просто не годился для таких обязанностей; надо бы, наверное, подыскать ему что-то другое. Может, Эрик поможет его пристроить, связи у него остались.

Слушая свой голос, он закрыл глаза, представляя, как кружат за окном снежинки. Если прогнозы не врут, то снегопад продлится еще не один день; на улицах будут грохотать очистители, стремясь разгрести заносы, под ногами будут разбрызганы химикаты, но снег так и будет па-

дать, ложиться на тротуар, на припаркованные машины, сады, деревья, крыши и антенны. На пару дней мир окутает покров необыкновенной красоты. Тут он понял, что опять проголодался.

— Символ веры, — возгласил он.